

Федор Михайлович Решетников

Горнорабочие



Федор Михайлович Решетников

Горнорабочие

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7414785
Горнорабочие: 1866

Аннотация

«...Мы на одной из ветвей Уральских гор, в тридцати верстах от Осиновского железодельного, чугуноплавильного и медноплавильного завода, далеко в стороне от большого сибирского тракта. Осень еще не начиналась, потому что стоит июль месяц, но, несмотря на то, здесь стоит ужасная погода. В этом месте и в прошлом году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до ильина дня стоит жар, в ильин день пройдет над горой сердитая гроза – и потом дождик, который так и идет целые две недели; а ныне грозы не было, зато дождь начался с половины июля и, хотя он идет не постоянно, но все-таки идет, то через час, то через полчаса. Ничего бы и слякоть, так опять ветры дуют холодные, солнышко не показывается. Холод, ветер и дождь не только злят людей, но и тяжело действуют на растительность: от холода желтеют листья березы, желтеет трава, от ветра оголиваются деревья. Даже животные, щиплющие здесь

траву, дрожат... И говорят люди, что погода в это время год от года становится все хуже и хуже...»

Содержание

| | |
|--|-----|
| Глава I. Невеселая встреча | 5 |
| Глава II. Осиновский завод | 22 |
| Глава III. Отец и дочь | 30 |
| Глава IV. Суд отца | 46 |
| Глава V. Илья Назарыч Плотников | 52 |
| Глава VI. История Осиновского завода | 62 |
| Глава VII. Токменцов действует на другой день иначе | 82 |
| Глава VIII. Как токменцовы проводят остальное время дня | 92 |
| Глава IX. Артамонов | 106 |
| Глава X. Положение Елены | 110 |
| Глава XI. Елена ходит по грибы и по малину | 115 |
| Глава XII. Петровский рудник | 136 |

Федор Михайлович Решетников Горнорабочие

Глава I. Невеселая встреча

Мы на одной из ветвей Уральских гор, в тридцати верстах от Осиновского железодобывающего, чугуноплавильного и медноплавильного завода, далеко в стороне от большого сибирского тракта. Осень еще не начиналась, потому что стоит июль месяц, но, несмотря на то, здесь стоит ужасная погода. В этом месте и в прошлом году, и позапрошлые годы не хвалились хорошей погодой: до ильина дня стоит жар, в ильин день пройдет над горой сердитая гроза – и потом дождик, который так и идет целые две недели; а ныне грозы не было, зато дождь начался с половины июля и, хотя он идет не постоянно, но все-таки идет, то через час, то через полчаса. Ничего бы и слякоть, так опять ветры дуют холодные, солнышко не показывается. Холод, ветер и дождь не только злят людей, но и тяжело действуют на растительность: от холода желтеют листья березы, желтеет трава, от ветра огаливаются де-

ревья. Даже животные, щиплющие здесь траву, дрожат... И говорят люди, что погода в это время год от года становится все хуже и хуже.

Тихо, а еще пять часов вечера. В иную пору, в это время, так здесь весело: можно и по грибы сходить в лес, и рабочих можно увидеть: идут или едут они с рудника и поют песни, и далеко за горами раздается эхо. А теперь даже и птиц не слышно; разве сорока пролетит молча, да и та забьется в лес, скроется в ветке, стряхивая с себя дождь, чистя свой нос об ветку и злобно смотря по сторонам; спят белки, обитатели здешних лесов, или в беспокойстве перескакивают с сосны на осину, так что сухие ветви трещат; а воробышек, заменяющий здесь соловья своими песнями, тот давным-давно спит на ветке, спрятавши под крылышко свою красивую головку, и только по временам вздрагивает от ветра, холода и дождевых капель. Одни только большие красные черви, выползая из земли, нежатся на мокрой траве; но стоит только дотронуться до травы, как червяк вмиг улизнет в ту дыру, из которой он выполз...

Вот слышались откуда-то колокольцы. Бренчанье их слышалось все ближе и ближе, – и вот с южной стороны, откуда идет дорога в завод, показалась тройка лошадей, запряженных в повозку, которых погонял взмахом руки ямщик, сидящий на передке. Бед-

ные кони, кажется, измучились; ноги их скользили по глинистой почве. Дорога хотя и усыпана шлаком (нагар от медной и железной руды), но ямщик ехал стороной, вероятно, потому, что неудобно ехать по шлаку. В повозке сидит какой-то барин в горнозаводской шинели, в фуражке, тоже горной формы. Они проехали, и опять скоро тихо стало.

С левой стороны (стоя лицом к заводу) выехал из лесу по узенькой дорожке, против которой, около большой дороги, стоит столбик с дощечкой с надписью: «Ильинский рудник», на одной лошади, запряженной в худую телегу домашнего изделия, человек лет под сорок. Одет он немного лучше крестьянина: на голове фуражка, започиненная двумя заплатами из серого и зеленого старого сукна, с изодранным козырьком, в зеленом тиковом халате, который от дождя походил на черную клеенку, продранном в разных местах и опоясанном кушаком домашнего изделия, в худых больших сапогах. По русым волосам течет дождевая вода с фуражки и падает на корявое, бледное лицо и, мешаясь с новыми дождевыми каплями, течет по бороде, тоже русой, и потом падает ему на колени. Он то и дело утирает лицо своими черствыми, мозолистыми ладонями. На лице его, довольно правильном, выражались и досада, и проклятия. Он то зевал, то смотрел в лес, то кричал на лошадей:

– Ну-ка, дурак!..

Отъехав немного от столба, он слез с телеги, стегнул лошадь и пошел шагом.

Лошадь шла, чуть-чуть передвигая ноги, вероятно, потому, что она сызмальства приучена ходить так, а теперь, поработавши с хозяином вдоволь, она, знавшая хорошо эту дорогу, чуяла, что и ей скоро будет отдых: она то взмахивала хвостом, то вздыхала, то широко глядела вперед, то оглядывалась, умильно взглядывая на хозяина. Хозяин лошади то перестигал ее, то отставал от нее и тупо глядел на ее копыта: на двух ногах подков нет, на третьей подкова болтается.

– Э-эх, ты, сокол ясный, друг прекрасный! – прокричал он остановившейся вдруг лошади и замахнулся на нее. Лошадь вздрогнула, рванулась и пошла по-прежнему.

– Экая погода-то, осподи!.. В те поры... – шептал хозяин лошади – и вдруг углубился в свои мысли, и лицо его принимало различное выражение.

– Ты, говорит, Токменцов, – подлец, ленивец, плут... На-ткось! А зачем ты меня, ваше благородье, аспид проклятый, отодрал перед тем, как мне в крепильщиках назначение вышло состоять?.. А зачем ты, стерво варнацкое, урок поставил: разве я волен, што не мог представить восьми коробов в день?.. Твоя лошадь-то? Разе лошади такое назначение выходит?..

Ишь, три рубля следует, а на говорит, Токменцов, дурак ты экой, семигривенной... Ну-ну, бурко миленькой, золотой, серебряной, чтоб те калачиков двадцать...

Токменцов рассуждал про себя и разговаривал с лошадью.

Телега Токменцова была не пустая. В ней что-то лежало, покрытое ветхой, мокрой и грязной рогожей. Под рогожей что-то шевелилось.

– Ганька! – вскрикнул вдруг Токменцов.

– Ы! – послышалось из-под рогожи болезненно.

– Будь ты проклят, стерво! – сказал скороговоркой с сердцем Токменцов и плюнул. – На, чтоб те язвело, анафемского парня!.. Говорил я тебе, не связывайся с Пашкой Крюковым, будешь стеган – нет!.. Вставай, будь ты проклят!! – кричал Токменцов и ткнул витнем в рогожу.

– Ой-е! – простонал Ганька и открыл рогожу. Дождь шел мелкий, как мука из сита.

– Што! мало те польсали, мало? – дразнил Токменцов Ганьку. Токменцов пошел в лес, достал из пазухи кисет с махоркой и трубкой и закурил. Лошадь остановилась. Ганька, парень лет тринадцати, с бледным, худым и таким грязным лицом, как будто он, не умывавшись с месяц, рылся в земле, лежал в телеге на животе. Лицо его выражало и зло, и плутоватость, и

страдание, которое выражалось часто, то охами при движении, то каким-то шепотом, то тем, что он грыз зубами рукав своей изгребной толстой синей рубахи, започиненной на спине красной выбоиной, то болтал ногами, на которых были надеты худые башмаки. При этом он больше глядел тупо на один предмет, и зрачки его глаз делались большими.

Отец опять шел около телеги.

– Тятка, дай сосну!

– Я те дам – сосну, сосун экой!

– Дай... – произнес протяжно Ганька, как дитя, просящее есть.

Отец молча дал сыну чубук с трубкой; сын затянулся раз и закашлялся.

– Туды же!.. – проговорил отец и вырвал у сына трубку. Немного погодя, он спросил: – Тебя што спрашивают: поди-ко, не больно, коли так-то стягают?

– Я, знашь, што сделаю? Подосенову рыло сверну.

– Хо-хо! Тогда так те отшлифуют, што...

– Не ври!

– Дурак ты! – И отец сел на козла. – Это, парень, все веники, а там береза будет. Учись привыкать-ка-выкать (терпеть): не ты первый, не ты последний.

– Сказано: Подосенову голову сорву! – крикнул зло Ганька.

– Хо-хо... Руки коротки.

– Тятка! – закричал Ганька и поднялся. Отец посмотрел на него весело: Ганька глядит чистым дикарем, по щекам ползут слезы... Отец сжал кулаки, крякнул и, ничего не сказав, обернулся к лошади. Так они ехали молча около часа. Потом Токменцов запел грустную песню, сначала негромко, а потом во все горло:

Уж ты, гулинька, да ты мой гулененочек!

О-ох, што же ты, гулинька, ко мне во гости не летаешь?

Разе домичку моего да не знаешь?

Разе голосу моего не слышишь?

Разе мой голос ветричком относит?

Али сизы крылушки частым дождем мочит,

Разосенненьким частым споливает...

– Тятка!

– «Частым да споливает...»

– А тятка?

– Чево тебе?

– Дай водички.

– Где бы я про те припас?

Што да не ласточка по полю летает...

– Тятка!

Отец перестал петь, а только насвистывал. Потом он задумался об том, что сына его Ганьку безвинно на-

казали на руднике розгами. Вдруг остановил лошадь, взял из телеги топор, подошел к лесу, около которого лежало недавно срубленное дерево.

– Экое дерево-то гожее! – И он, перерубив его на-трое, положил в телегу рядом с сыном. В это время из завода подходила навстречу женщина лет сорока пяти, бледная, худая, высокая, с костлявыми руками. На голове ее надет красный платок, на синюю рубаху надет изорванный сарафан, на ногах худенькие башмаки с худыми чулками из шерсти, да на плечах мешок с чем-то. Это был весь ее костюм, а все это давно уже смокло до того, кажется, что не было и на теле ее ни одного сухого места; руки и лицо ее мокрые, по коленям текут черные полосы грязи.

Женщина поравнялась с Токменцовым и спросила:

– Ганька-то где-ка?

– Здесь, мамка! – сказал весело Ганька и приподнялся.

– Што ты парня-то не слал?

– Не слал!.. В первой, што ли!.. Не слал?! Прытка больно: всего вон истягали... Да ты-то куда?

– Знамо, куда! одна дорога: к главному, самому главному.

– Будь ты проклятая!.. – и Токменцов плюнул.

– Чего ты ругаешься? Поди, продавал где-нибудь шары-те. Две педели где-то шатался, шатало, а без

тебя чудеса делаются.

– Какие чудеса?

– А таки чудеса, што Пашку задрали.

– Ну?!..

– А так: ты уехал на рудник-то, а Пашку на Петровский рудник угнали.

– Да ведь он в лихоманке был?

– Чего я делать-то стану; поди-кось, слушают нашава брата.

Токменцов поехал, но, отъехав немного, он остановил лошадь.

– Онисься! – крикнул он. Жена его остановилась.

– Чево?

И слезши с телеги, Токменцов пошел к ней.

– Так ты чего ино: куда теперь?

– Толком говорила, што к самому главному начальнику.

– Да ты, дура, сообразила ли: ну, што ты ему скажешь?

– Небось получше твоего. Ты бы поглядел, что это было! – сказала она, злобно рванув рубаху, и вдруг заплакала.

– Ну, дура, заживет.

Онисья долго ругалась, а Токменцов стоял молча.

– Гадина ты поганая! никакого-то у тебя разума нетутка! Ну, чего ты шары-то выпучил, стоишь?

– Молчи, гадина! Сама виновата: обращения такого не имеешь, штоб без беды не прожить. Нет, небось сама суешься, суета проклятая.

– Поди-кось, какие умные речи толкуешь! А по-твоему, это дело: парня взять больнова да и стегать – што ему робить но в силу? Ну, как я узнала, что его задрали, так я и пошла к управляющему, вломилась: с какого, говорю, права можете наших робят задирать? Подай, говорю, варвар ты эдакой, моего сына, живого подай!.. Возьми, говорит, хорони его. Ах, ты, говорю я ему, разбойник ты эдакой, покарает же тебя царица небесная... А он и отправил меня в полицию... Ну, где правда?

– Знаешь, я бы не советовал тебе иди-то.

– Отчего это так?

– Оттого, што и там толку-то нет, все равно, што здесь. Скажут: стоит бабы слушать.

– А по-твоему, мне так и ходить стеганой?.. Ша-лишь!

– А есть ли у те пропитал-то? Это ты сообразила ли?

– Кто его, пропитал, припас? Христом-богом дойду, добры люди накормят.

– Мамка, и я с тобой!

– Я тебе дам! Мало еще тебя стегали?

Дело в том состояло, что в отсутствие Токменцова

сына его Павла, шестнадцать лет, называвшегося по-заводски подростком, взяли хворого на рудник и там за какую-то вину наказали розгами так, что он на четвертый день умер. Узнавши об этом, мать и пошла к управляющему, но ее за грубые выражения наказали розгами. Теперь она отправилась с жалобой к главному начальнику горных заводов. Токменцов положительно стал втупик от намерения жены. Оба они люди бедные, пропитание они достают с помощью лошади и детей, которые получают провиант: стало быть, у них одного работника не стало. Даже и тогда человеку рабочему становится горько, когда у него умрет лошадь, а теперь разве ему не горько, что одного сына задрали, а другой тоже, может быть, не избегнет этой же участи? Но он боролся с тем, что будет ли толк какой от жалобы жены и не будет ли ему от этого хуже; а на это он имел десятки фактов.

– Ты бы, Онисья, подумала, что сделали с Фитулихой?

– Сам плох, так и не подаст и бог. Известно, разиня.

– Ой, Онисья, плохо будет: наживешь ты со своей жалобой беды.

Онисья представила себе положение вдовы Фитулиной, которая своей жалобой не только не помогла делу, а все испортила, но зато у нее не задрали сына, ее не стегали.

– Про это я сама знаю.

Онисья долго стояла, думая: идти ли ей в самом деле? Кто его знает: Иваныч ровно правду говорит, да как же они смеют! Пойду! – сказала она громко и сердито, – и пошла наша Онисья, а муж ее, задумавшись, ехал в завод. Он так был зол в это время, что попадись ему навстречу какой-нибудь надзиратель, он избил бы его так, что тот на всю жизнь бы калекой сделался. Ганька несколько раз что-то спрашивал у него, но не добился ответа.

До завода верст десять осталось. Лес начинает редеть; около лесу, по обеим сторонам дороги, во многих местах навалены дрова-долготье, в нескольких местах видны черные большие круги на земле; в двух местах жгут кучонки: кучи в два аршина вышины и в полтора ширины, обваленные свежей землей, и из этих куч в боковые отверстия идет дым. На одной куче стоят двое рабочих в рубахах и скачут – это они убивают горящие под землей дрова, а третий большой ступой бьет с одного боку кучу, – это он садит на товар дрова. В другой куче в середине сделался провал, отчего пламя высоко поднималось. Двое рабочих бросают в середину дрова, а третий кидает туда земли, или зернит. Между этими кучами стоит балаган – род пирамидального трехстенного шалаша, в середине которого разложен огонь. Из третьей кучи выбра-

сывают золу, землю и ломают длинные толстые угли: один рабочий бьет лопатой, другой граблями отдергивает мелкие угли; третий и четвертый накладывают угли в телегу, пятый уже далеко едет на завод. Это рабочие справляют куренные работы. За семь верст от завода, которого еще не видать, потому что местность идет ровная, а дорога повертывает налево и идет между мелким, редким лесом, – в этом месте попадаются запоздалые коровы, щиплющие траву, попадаются овечки, облизывающие друг друга и как-то болезненно смотрящие по сторонам. Дождь то переставал, то шел снова... Вот откуда-то послышалась заунывная протяжная песня и смолкла опять, а Токменцов сидит все злой, и чем ближе подъезжает он к заводу, то он становится злее.

Гаврила Иваныч Токменцов, как и другие его товарищи, принадлежал наследникам Граблева и назывался непременно работником, как назывался и покойный отец его и как будут называться и дети его. Рос он, как и прочие росли. С тех пор, как он мог ходить на своих ногах, он летом постоянно был на улице и вполне приучался к заводской жизни: сначала валялся в песке и грязи, потом стал бегать по этой грязи и песку в рубашке, без штанов и обуви, потом стал играть, был бит от старых и малых и сам приучался драться, и, между прочим, уже восьми лет владел топором,

учился косить траву, умел высверливать на шариках дырки, запрягал и распрягал лошадь, так что физические его силы быстро возрастали и крепили. Бывши мальчуганом, он слыл за отличного бойца и ловкого плута, умел обругать кого угодно так же, как ругается и его отец, усвоивший ругань тоже с детства, и с терпением переносил розги, которых пришлось ему принимать еще очень много. Отец его был крепкий раскольник беспоповщинской секты, но Гаврила Иваныч считается православным; впрочем, в церковь он ходил только в самые большие праздники. В кругу товарищей он уже давно приучился курить табак и потягивал водку. Попавши с двенадцати лет на рудники, под именем малолетка, он уже походил на рабочего: например, он работал на конной машине, погоняя лошадей, таскал в тачках песок, угли и тому подобные вещи. Таким образом, находясь постоянно на работе и сталкиваясь с людьми, он уже в это время не уступал ни речами, ни манерами взрослому рабочему и не был такой сонливый, какими кажутся наши крестьянские парни. В обществе товарищей он изощрялся и сам своим умом на остроты, насмешки; услышав от механика-иностранца иное непонятное слово, он вместе с товарищами прозывал этого механика мудреным словом или складывал песни, пародию на управляющего, прикащика или исправника. Понятия его были так же

ограничены, как и у всех, и хотя он родился в раскольнической семье и умел читать и писать, но знал столько же, сколько и другие знали, потому что ему неоткуда было приобрести больше знаний, да он, правда, и сам не нуждался в этом. Попавши в рабочие и проработавши с год, он узнал, что значит быть горнорабочим: прежде хотя и трудно было, хотелось играть, и дирали на славу за лень, и в шахте приходилось ползать с тачкой на коленях, но все же было как-то легче; теперь он настоящий рабочий: его посылали на работу вместе с прочими, и если урок не выполнялся, его и товарищей драли или обижали провиантом, деньгами. Нисколько не отличаясь от обыкновенных рабочих, он был, надо сказать, человек честный, практический и по заводу не глупый. Одно только водилось за ним: он, как и другие, потаскивал полосы железа, которые потом продавал, таскал свечи сальные из рудников; но, как мы увидим дальше, этого ему и нельзя было ставить в особую вину.

На Онисье Кириловне он женился на двадцатом году. Женился, конечно, по любви: он был уже взрослый парень, с Онисьей он рос вместе, вместе играл до пятнадцатилетнего возраста, а потом обращался с ней по-своему: то щипнет, то воду прольет, та отделилась от него бранью и колотушками. Кроме этого, его побуждало жениться еще то: он будет сам хозя-

ин, будет получать четыре пуда провианта, и на детей пойдет тоже провиант. Онисья росла в бедной семье и выросла, как и прочие заводские девушки: научилась домашнему хозяйству, умела косить, лошадь запрячь и ездить верхом на лошади, умела шить и вязать чулки. По умственному развитию она была все-таки ниже мужа: в девушках ей не приходилось слышать от старших много хорошего; вышедши замуж, она сначала работала вместе с мужем около рудников, а потом она стала водиться с детьми; а известно, что рабочему человеку, занятому домашним хозяйством и детьми, заботы много, и думать о чем-нибудь приходится разве за чулком, да и тут от ребяческого крика не много надумаешь.

Онисья Кириловна была хозяйка хорошая, и, если бы не рожала детей, она бы непременно стала работать с мужем, как это часто делают многие женщины на заводах и промыслах. Но теперь у нее есть дочь семнадцати лет, Елена, которая помогает ей в хозяйстве; было трое сыновей: Павел шестнадцати, Гаврила тринадцати и Николай пяти лет, из которых Павла задрали на руднике. Павла она любила больше других детей, и потому ей очень тяжело было, когда его несправедливо взяли больного на рудник и там задрали; тем более тяжело, когда за правду ее же наказали. Но будет ли какой прок из ее жалобы? Мысль об

этом мучила Гаврилу Иваныча, который хотя и имел со всеми рабочими большую антипатию к начальству, но трусил, как и все трусят, что главный начальник не выслушает жалобу от бабы, а управляющий или прикащик сделает не только бабе пакость, но достанется и мужу. «Ну, будет что будет! бог не без милости!» – подумал Токменцов и вздохнул; на душе сделалось немного полегче.

Глава II. Осиновский завод

Читатель, вероятно, заметил, что наш рассказ начинается еще до воли. Предупреждаем его также, что Осиновский завод не может быть отыскан на карте, а имя владельца не найдется между нынешними владельцами.

Еще не доезжая до завода большой дорогой верст пять, глазам новичка в этом дело представляется красивая картина. Вы спускаетесь вниз с пологой возвышенности, направо сперва покосы, ничем не огороженные, потом кустарники, обгорелый редкий лес, а за ним поднимаются горы и пригорки; налево лес, сосновый и березовый, скрывающий виды, а впереди – сначала показываются мелкие кустарники, на пространстве в несколько верст, леса разных пород, преимущественно березовые и осиновые. Дорога сначала идет прямо, потом скрывается в лесу, а далее, смотря все вперед, на огромном пространстве лес, то опускаясь, то поднимаясь, то зеленый, то черный, то, в местах, красный от пожара, с дымом, стелющимся по большому пространству, – дает чудную картину. За пять верст отсюда, через кустарники и лес, видятся три каменных церкви с тусклыми куполами, серыми стенами, и вокруг них дома, каменные, крашенные, се-

рые и черные; в середине этой массы серая полоса – пруд, скрывающийся налево за лесом. Высокая, голая гора Лапа, возвышающаяся за домами, идет как будто полукругом; далеке – верст за пятнадцать от завода – около горы тянется извилинами речка, как будто исчезающая далеко в горе; и серый густой дым, возвышающийся из одного большого здания с красной круглой крышей, стелется над строениями, тесно скученными на пространстве верст пяти по глазоме-ру. Это – Осиновский завод. Завод с этого места имеет вид неправильного пятиугольника, и дома то поднимаются кверху, то опускаются вниз – по неровности места. Дорога идет по косогору, лес становится реже, на спуске невысокий кустарник, потом начинаются огороды, недостроенные дома, ничем не огорожен-ные; дальше дома стоят теснее и теснее друг к дру-гу, с небольшими заплотами. Дорога идет налево. До-ма лепятся по косогору и принимают горнозаводский вид – с дощечками над воротами, означающими фа-милию хозяина дома, и дощечками над окнами, с го-дом, означающим время постройки дома. Дома одно-этажные, с двумя, тремя, пятью окнами, высоко сде-ланными от земли, с выбеленными и раскрашенными разными кружками, крестиками, ставнями, с пожелте-лыми и черными воротами и заплотами. Это – новая сторона. Через лог и небольшую речку улица идет по

глинистой почве, которая после дождя засыхает только в сильные жары. Опять улица немного поднимается; здесь место идет ровное.

На этой улице, называемой Большой Заводской, налево стоит питейный дом. Около его толкуются человек шесть рабочих в зеленых и серых зипунах. Они о чем-то спорят.

– Здорово, братцы! – сказал Токменцов, подъехав к ним. Он слез с телеги и, подошедши к ним, снял фуражку.

– Э! – откликнулся один рабочий.

– Не слыхал, што Подхалюзин сотворил? – спросил Токменцова другой рабочий.

– Што?

– Наташку Никулиху в острог представил.

– За што?

– Фальшивую бумажку нашли.

– А мы хотим показать, што эти бумажки сам Подхалюзин робит.

– Гоже. А нет ли, братцы, пяточка?

– То-то што – в монетном уют, да нам не дают, – сострил молодой рабочий. И они взошли в кабак. Оказалось, что четверо из них были куренные рабочие, а два мастеровые, занимающиеся в самом заводе столярным ремеслом. Один столяр заложил зипун, взял полуштоф; за водкой стали разговаривать крупно о

разных делах, подправляя разговор остротами, закричали и, взявши в долг еще полуштоф, запели и заплясали. Пели они вот какую песню:

Штаники суконны.
Панталоны волоконны!
Ах, казаки десятники,
Варнаки шкурятники!
Положили выдрали – и т. д.

Плясали свой самодельный заводской танец. Казалось, они были веселы, но на душе у Токменцова невесело было: от водки он сделался еще злее, веселье товарищей его бесило, сердце как будто что-то щипало.

– Савелий Игнатьич! поверь в долг, – говорил он сидельцу.

– Не могу.

– А, дуй те горой! Ведь у него сына задрали.

– Ей-богу, не могу.

Так-таки Токменцову и не пришлось выпить. Он обругал сидельца, товарищей и вышел злой из кабака, неизвестно почему ударил сына по голове, стегнул крепко лошадь и тронулся, а рабочие, обнявшись и шатаясь, шли за ним, напевая:

– Мости, миленькой да дружочек...

Он уехал... Стали попадаться переулки, улицы,

кривые и грязные; дорога усыпана шлаком; дома красивее. Токменцов проехал уже четыре каменных одноэтажных дома, десять полукаменных, несколько обитых досками и выкрашенных желтою краскою, с садиками перед окнами, с красными и голубыми крышами, одну церковь. Вот выехал он в самую лучшую часть города: впереди, направо, заводской собор, за ним виднеются серые фабрики, а дальше гора Лапа. Здесь улица шире, черная дорога убита хорошо, есть деревянные и каменные тротуары. Налево – большой двухэтажный господский каменный дом, с каменными флигелями, с чугунными решетками, садом, выходящим на озеро, на котором сделана купальня, – и все это занимает большое пространство; направо большой собор, довольно красивый, с садом вокруг и чугунной решеткой; против собора заводская полиция и главная контора, между ними – площадь с гостиным двором, против которого в пятиоконном деревянном доме помещается Осиновская почтовая контора. Здесь есть и фонари, зажигаемые, впрочем, во время пребывания здесь начальствующих лиц горного ведомства.

Это называется запрудская сторона. В ней живет все высшее управление Осиновского завода с его округом, семь тысяч людей обоего пола, из которых до двух тысяч мужчин, подростков и малолетков со-

ставляют чисто горнорабочий класс. Две трети жителей этой стороны принадлежали казне, остальные – владельцу завода.

У ворот господского дома, в котором живет управляющий граблевскими заводами, стоит будка. В будке сидит караульный осиновец и починовывает сапог; из улицы выехали рабочие с углем. Шедшие рабочие, поравнявшись с господским домом, снимали фуражки и шапки.

За господским домом начинается плотина, идущая на полверсты, запруживая озеро, имеющее длины шесть верст и ширины от одной версты до трех верст. Это озеро называется по-заводски прудом. Налево, впереди, – озеро, скрывающееся правее в углу за лесом, направо – заводские здания, большие, серые и почернелые от дыму и углей каменные флигеля с круглыми и обыкновенными крышами. Это фабрики: кричная, раскатная, доменная, кузнечная, – с высокими трубами, из которых постоянно выходит дым густыми черными и серыми клубами. Дорога здесь черная от сыплющихся во время ветра углей из фабричных труб и углей, падающих с телег, в которых их возят на угольный двор, находящийся позади фабрик. Около кузнечной фабрики сделаны большие весы, а над ними в башенке висит полупудовый колокол, которым скликают народ на работу и по которому пре-

кращают работы. Сквозь фабрики через плотину проходит небольшая речка. Весной, во время спуска воды из пруда, она становится удобной для сплава каравана с металлами.

За плотиной опять продолжаются заводские строения, левее от горы Лапы, – то старозаводская слобода. Если стать посередине плотины лицом к озеру и посмотреть направо и налево, то с первого же раза бросается в глаза различие двух приозерных сторон. На левой стороне у берега – сады, и над ними высятся то каменные, то полукаменные дома, то крашенные крыши, видны беседки в огородах, движение по воде около берега; на правой же стороне бросается в глаза черная масса кое-как наставленных угрюмых домов – маленьких, ветхих; огороды ничем не огороженные, с банями без крыш. Задние постройки, вмещающие в себе амбары, погреба, сараи и т. п., так крепко пристроены друг к другу, что с одного конца до другого можно свободно пройти по крышам.

Токменцов въехал в узкую грязную улицу. Он проехал много домов, а переулков нет. В этой слободе только одна улица, которая тянется вдоль по озеру и идет не прямо, а разными извилинами. Здесь дома ветхие, покачнувшиеся направо и налево, подпертые, с двумя окнами и со ставнями, ничем не окрашенными.

В этой-то слободе и живет Гаврила Иванович Токменцов в числе человек тысячи населения, которое, называясь неперменными работниками, принадлежало наследникам Граблева.

Вот и Токменцова дом на левой стороне, с двумя окнами на улицу, с высокой крышей, покачнувшейся на правый бок, с воротами; на дворе, около задних построек, стоит высокий шест с будочкой, или просто – скворешник.

Глава III. Отец и дочь

Елена Гавриловна, по-заводски Оленка, была ростом невелика. Говорили соседи, что она по глазам походит на отца, ртом и носом на мать, но ее бабушка говорила всем, что она ни на отца, ни на мать не походит, а вся вылитая как есть в нее, бабушку. Она и действительно не походила на родителей, а Онисья Кириловна доказывала по-своему: что она только махонькая походила на нее, а как сделалась эдакой дылдой, то стала походить черт знает на что, и сетовала, что дочка сделалась какая-то подхалюза и белоручка.

Олена сидит у окна и вяжет чулок, сидит она босиком, сложивши левую ногу на правую. На ней надет сарафан из синей изгребины, и хотя этот костюм, прошитый по бокам красной тесьмой, с узорами на груди, довольно беден на вид, но он прост и опрятен. Елена Гавриловна девушка вполне здоровая, но на лице у нее нет румянца, который бывает у женщин, много работающих на воздухе, на стуже и на жару, около печи, много спящих и много кушающих. Положим, и Елена Гавриловна работала на покосах, но немного; а лишь только она могла ходить, то росла так же, как и ее уважаемый родитель, Гаврила Иваныч: подобно ему, она так же бегала по улице с ребятами обоих по-

лов и разных возрастов, так же она играла с ребятами в разные игры, даже в бабки, в городки и даже в змейки, так же она прежде бегала в одной рубашонке, постоянно грязной, которую она частенько задирала на голову; такая же она была замарашка, с белыми распущенными волосами, некрасивая; но теперь старики, глядя на нее, говорят: «Какая ты, Олена, красивая да опрятная стала! сичас хоть под венец...» Но, собственно говоря, вы красоты в ней большой не заметите: лицо с веснушками, бледное, но довольно правильное, чисторусское, а не какое-нибудь с татарскими или зырянскими пятнами или уклонениями, потому что их деды были русского происхождения, или, если шли от каких-нибудь инородцев, то, со временем, их формы лиц сложились в обычный тип горнорабочего человека, – высокий, крепкий и сильный в первое время молодости. Волосы у нее пепельного цвета, длинные, их она заплетает в косички, а потом вокруг головы и закрывает платком, когда ходит по улице, а дома их она никогда не закрывает. Она находит, что платок ей больше нравится, чем какая-нибудь сетка, которую она надевает в самые большие праздники. В дополнение к ее костюму надо еще прибавить, что в ушах у ней вдернуто по сережке, которые состоят из янтаря в медной оправе наподобие колокольного языка, а на правой руке, на среднем пальце, надето оловяно-

ное кольцо, принадлежащее ее матери. Вязанье тихо что-то клеится. Она то вздохнет, то задумается, сидит минут пять и смотрит в угол, то опять вздохнет и погладит большого бурого кота, наслаждающегося созерцанием, как на улице по грязи бродят овечки, то запоет протяжно заунывную песню:

Все-то ноченьки млада просидела.
Ах, одна-то думушка с ума нейдет,
Не с ума нейдет, не с разума.
Прогневала дружка милова:
Назвала его горькой пьяницей
Да несчастною...
Мое-т миленький да о-ей
О-осордился.
Он уж больше ходить-то
Да не станет,
Дороги те подарки он носить мне
Перестанет...

Как видно, эту песню она очень любила, потому что, кончив ее, она опять пела ее же – и пела с каким чувством!..

Детство ее прошло не очень-то весело. Его можно разделить на две различные половины по развитию:

первая заключалась в том, что она была предоставлена на произвол окружающих ее личностей, во второй – она принуждена была подчиниться влиянию матери и своей семьи. С самого раннего возраста, т. е. с тех пор, как только она перестала сосать материнскую грудь, она оставалась на произвол судьбы. Она была первое дитя и один ребенок в доме. Кормивши ее грудью один год и чувствуя скорое рождение нового ребенка, мать бросила ее, предоставив бабушке, которая, при всей своей нежности к ребенку, не могла, по грубой своей натуре, удовлетворять капризам ребенка, ласкать его не умела и часто потчевала шлепками по чем попало; часто случалось, что ребенок надоедал старухе, занятой постоянными лечениями и в особенности повивальным упражнением в старой слободе, а мать была занята или хозяйством, или носила мужу на рудник пищу, так что ребенок оставался назаперти в зыбке и ревел целый день, а иногда и целую ночь. Случалось ей и оставаться на полу или на лавке и в этом случае или падать с лавки, или стукаться головой о ножки стола, о печку и тому подобные вещи. Родился другой ребенок, за девочкой уже не стали так хлопотать, как прежде, и ее часто оставляли голодать и колотили старшие в сердцах и отец под хмельную руку. На четвертом году девочка уже бегала по улице. До девятого года, предоставленная

себе, девочка находилась решительно под влиянием товарищей, и как мальчики, так и она, усвоивала себе их манеры и понятия вместе с играми; но в это время она уже справляла в своем семействе кое-что: качала зыбку, таскала братьев, играла с ними, выносила помои, мела и мыла пол в избе, давала корове сена, загоняла во двор овец, ходила в лес по ягоды и по грибы с ребятами; потом ее стали приучать – вязать, стряпать, шить, заставляли петь при гостях песни. Наконец, она и совсем выросла; на нее уже смотрели как на девушку-невесту и требовали точного исполнения всех ее обязанностей. Теперь она умела все делать, чему ее учили, и она очень хорошо знала, что впоследствии выйдет замуж и будет сама рожать детей, – это везде в простом быту, где не стесняются никакими выражениями друзья-приятели и хорошие знакомые, дети знают очень рано. Бабушка ее была раскольница. Поэтому она требовала от зятя, чтобы он ее выучил читать и писать. Отцу было не время, мать грамоту знала плохо, а бабушка говорила, что ее хотя и начал учить муж, уже за мужем, но она, кроме азбуки, ничего не поняла. Поэтому девочка выучила дома только со слов азбуку, а играя с ребятами, она кое-как выучила склады – и то по церковной печати. Так она знала читать до двенадцатилетнего возраста, а с этого времени, занимаясь постоянно чем-нибудь,

она позабыла грамоту, кроме аз, буки да веди. Хорошо еще, что у нее есть подруга на запрудской стороне, умеющая читать и писать, но она дочь штейгера, к ней Елене приходилось ходить чуть ли не раз в год, и тогда о грамоте не было помину, да и Елене, вырвавшись из дому, хотелось только петь и плясать. Только в этом году, когда умерла жена штейгера и подруга Елены просватана замуж, Елена ходит туда чаще, просиживает по суткам и между делом учит грамоту снова. Только она умеет читать по складам и писать печатно большие каракули.

Отец о нравственности своей дочери не заботился, да и ему в голову никогда не приходило, чтобы дочь могла избаловаться, потому, во-первых, что дома он жил редко, а во-вторых, она была смиренная и при нем всегда была дома. Правда, он поговаривал: выдать бы ее замуж, – но за своего брата, рабочего, ему было жалко выдать, потому что он знал, что жизнь рабочего – жизнь очень тяжелая; писарей заводских он и терпеть не мог; за хорошего человека он ее выдать не мог, потому что был беден да при том неприменный работник. Так этот вопрос и был им покончен, до поры до времени. Мать же строго следила за дочерью: если куда-нибудь дочь уходила, она бранила ее и попрекала чем-нибудь; если она разговаривала с молодым мужчиной, мать опять корила ее целые сутки, а

об гуляньях и помину не было. Работать ей самой на себя было дело невозможное, потому что она заправляла в доме почти всем хозяйством; на рудник пустить ее боялись на том основании, что девушке с рабочими работать неудобно; работать дома на продажу было нечего, потому что в каждом доме женщины шьют одежду на себя и на семейства сами, а на рынке изделий и без осиновских произведений много.

Елена часто думала о своем положении: что из нее выйдет? Часто вспоминая девические игры и куклы и припоминая разговоры отца, матери и разных родных и знакомых, она давно понимала, что ее назначение — быть женой, а разговаривая с подругами, она поняла, что такое муж и жена, но только все еще не понимала, что такое любовь и как можно сойтись так, чтобы выйти замуж. Но мысль об этом не давала ей покоя, когда она оставалась одна: юная кровь ее волновалась, прилиwała к голове, в голове бродили какие-то несвязные думы, сердце билось сильно. Она не понимала, что происходило в ней, и при виде молодого человека в сюртуке, с которыми ей на старослободской стороне встречаться случалось редко, она потупляла глаза, сердце билось еще сильнее, а если ее ущипнет старозаводский парень, она хотя и отругивалась и отмахивалась, но ей делалось как-то неловко; она скоро убегала, а во сне ей мерещились вечерки, све-

чи свадебные, что она где-то в большой церкви стоит такая веселая, разодетая, народу много и слышит она говор: Оленку Токменцову-ту, вон энту, венчают сегодня...

Мать ее часто замечала, что она нынче что-то часто сидит без дела, сложа руки, и уж доставалось же Елене! Но она все переносила, только мать увеличивала за ней надзор; но может ли тут иметь силу надзор, когда человек только что начинает любить?

И такое дело тоже не минуло Елену Гавриловну, и случилось очень просто.

Была она как-то у своей подруги на вечорке. На вечорке было штук восемнадцать молодежи обоего пола, а наши народные, особенно заводские, вечорки редко проходят без песен, плясок и поцелуев; таковы уж наши песни и обычай. Родители сами дают детям волю, потому что хорошо знают, что на вечорках играют больше женихи и невесты (еще не помолвленные): из десяти человек непременно пять женятся или выйдут замуж, да и девица, кроме вечорки, ни за что не дозволит себе дать поцеловать ее чужому человеку. На вечорках с Еленой очень часто танцевал стоначальник главной конторы, Илья Назарыч Плотников, человек 23-х лет. Лицо его было хотя и некрасивое и немного попорчено от ушиба, но он так масляно-любезно глядел на нее своими черными глазами,

так умильно улыбался, что она постоянно краснела от его пожатий, улыбок и поцелуев. Еще никогда она не была в таком настроении, никогда не волновалась так, не билось так сильно ее сердце, что она сама не могла понять, что с ней делается... «Господи! что это со мной стряслось? – думала она, – ведь я плясала же с другими, и с приказными, и с парнями, и ничего, а тут... оказия!..»

Плотникова она с этих пор не видала долго, а увидела его на гулянье в господском саду, куда она зашла совсем случайно: мать послала ее на рынок; шла она мимо сада, смотрит – народ туда идет. Хочется посмотреть, что там делается, да одета некрасиво: ну, да и хуже меня ходят, – и зашла. Вдруг подходит к ней Плотников; на нем пальто черное новенькое, шляпа, сапоги со скрипом, в одной руке тросточка, в другой папироска. Стыдно сделалось Елене, что она такая ненарядная.

– Здравствуйте, Елена Гавриловна, – проговорил он ей и протянул руку.

Елена Гавриловна покраснелась; руки ей дать не хочется; бежать хочется, да народу много.

– Здравствуйте. Вашу ручку прелестную.

Еще того стыднее сделалось Елене Гавриловне. Народу идет много, все равно на нее глядят: она такая ненарядная, а он...

- Здоровы ли вы?
- Здорова...
- Пойдемте гулять.
- И, нет... как можно!
- Хотите орешков?
- Покорно благодарю.

Плотников достал из кармана пальто мелких кедровых орехов две горсти и дал их Елене Гавриловне; та не знала, куда ей деться с орехами, потому что у нее не было в сарафане карманов. Плотников как будто издевался над ее неловкостью, но она этого не заметила.

– Вы где живете? – спросил он девушку. Та рассказала.

– Можно к вам зайти?

– И, нет!.. Узнают наши, так и вам, и мне достанется.

Прощайте.

То ли от радости, что она увидела Плотникова, то ли от чего другого, она, не помня, пришла на рынок и, вместо полфунта соли, купила фунт, а перцу купить позабыла. Шла она домой как помешанная, не зная, что с ней делается, но пришедши во двор, она все-таки успела спрятать оставшиеся орехи под крылечко.

Через четыре дня после этого Елена Гавриловна сидела у окна с работой. Мимо окна шел Плотников; увидев ее, он снял фуражку и прошел мимо. Лицо

Елены Гавриловны вспыхнуло, она ушла на крыльцо и стала как вкопанная, так что мать закричала на нее:

– Што ты, шкура барабанная, стоишь-то? Елена Гавриловна вздрогнула и сказала:

– Ничего.

– Пошла в избу, вынь из печки-то горшок. У!

И обидно же Елене Гавриловне сделалось, что мать ее горя не знает, а какое горе у нее – она не может сообразить прямо; и досадно, что ей не удалось поговорить с Ильей Назарычем, ночью она была как в бреду и пролежала до утра: то блохи, то клопы кусают... «И что это со мной диется? Прежде ровно они, проклятые, не кусались... Ах бы, поскорее увидеть его... Нет, не надо... Ай бы да поговорить... Нет, увидят; в саду бы...»

Плотников что-то часто стал прохаживаться по слободке, так что это заметили рабочие: «Обломаем же мы этому долговязому ноги! Ишь, нюхает што-то: верно, к Токменцовой Оленке подбирается, гад поганый». Однако его еще никто не побил, и Елена Гавриловна видела его нередко.

Мать ничего не знала; она целые две недели бегала из дому: то за Павла хлопотала, то по начальству бегала; теперь она ушла из дому, сказав дочери, что идет к мужу.

Сегодня в сумерках Елена Гавриловна, как мы ви-

дели, сидела у стола скучная и чего-то дожидалась. Вдруг идет Плотников; дрогнуло у нее сердце, не стерпела она и отворила окно, чего никогда не делывала. Плотников ей поклонился.

– Куда вы это ходите? – спросила она Плотникова.

– Тетка у меня тут живет у озера: Коропоткина.

– Знаю.

– Вы одни?

– Да.

– Можно зайти?

– О... нет!.. Право, боюсь.

– Ничего, – и он пошел к калитке.

Закраснелась Елена Гавриловна, подумала: «Зачем он?» – и пошла на крыльцо, надев предварительно на ноги башмаки. Во дворе, крытом навесом, лежала на полу, сделанном очень давно из досок, корова, неподалеку от нее лежали овечки, направо поленица осиновых и березовых дров, налево, в углу, около стайки, опрокинуты сани, долгушка, начатая на продажу нынешним летом, но неоконченная и разный хлам: колеса, жердочки, чурбаны, верешак, а посреди двора, на веревочке, протянутой через весь двор, развешаны разных величин тряпки. На крытое же крылечко нужно подниматься четырьмя ступеньками. На крылечке рогожа, а в углу повешен глиняный чайник, служащий вместо умывальника. В сенцах, захломощен-

ных кадушками, тулками, вениками, ведрами, сельницей, довольно чисто.

– Здравствуйте. Елена Гавриловна! – сказал Плотников.

– Здравствуйте, – едва слышно сказала Елена Гавриловна,

– Как поживаете?

– Ничего.

– Где же ваши-то?

– Мать ушла к отцу на рудник.

Они вошли в избу. Изба состояла из трех окон: два на улицу, третье во двор; в переднем углу стол стоит, а в самом углу – четыре иконы медные и перед ними божничка, т. е. полочка и лампадка; перед окнами две лавки; на стене приклеена картина страшного суда и два другие лубочные изображения; в углу налево стоит шкафчик с посудой; большая русская печь, с приступками, корчагами, кринками, лопатой деревянной и ухватами, занимает четверть избы; против печки большие полаты, под ними, против печки, стоит двухспальная кровать с плохонькой периной, двумя подушками, стеганным из различных лоскутков одеялом; над кроватью, в углу, висит сарафан, сермяга и большая шапка; под кроватью красный небольшой сундучок. На полу постланы половики изгребные, прибитые к полу гвоздиками.

- Насилу-то я попал к вам.
- Садитесь, гости будете.
- А ведь вам, чать, скучно?
- Ой, и не говорите...
- Как же вы одни-то теперь спите?
- Ничего.

Она врала: ей очень было скучно, она боялась, чтобы кто не убил ее, особенно в последнее время – ее пугали по ночам даже тараканы.

- Что вы поделяваете?
 - Чулок вяжу.
 - Елена Гавриловна...
 - Чего?
 - Я весь измучился об вас... Не поверите: просто бы все так сидел с вами да на вас глядел.
 - Ой ли?
 - Ей-богу, Елена Гавриловна!
 - Ну?
 - Я люблю вас, – и он обнял ее, но она оттолкнула его, так что он чуть но свалился с лавки.
 - Отстаньте!
 - Я люблю вас.
 - Поди-кось, так и поверили! Эх, дуру какую нашли.
- Коли сидеть хотите, так смирно сидите, а то свистну по чему придется.
- Экие вы жестокие! – и он взял ее за руку.

– Вам русским языком-то говорят! – и она ударила его по руке.

В это время щеки у нее сделались красными, грудь поднималась, она говорила не своим голосом.

– Матушка, Леночка, друг... – шептал Плотников; он сильно обнял Елену Гавриловну и поцеловал ее.

– Ой! – и она, вырвавшись, убежала к дверям и сильно крикнула: – Негодный человек вы после этого! – и она заплакала.

Плотников испугался; хотелось ему обласкать Елену, но она и слушать его не хотела.

– Уйди ты от меня, аспид проклятый!.. Ну, как я теперь в люди покажусь?

– Еленушка!

– Я, ей-богу, закричу! Плотников пошел к двери.

– Прощай! Она молчит.

– Прощай! – и он пошел.

– Илья Назарыч! – сказала она громко, по голос содрожал, и дернула его за сюртук; дернувши, она побежала к окну и, как ни в чем не бывало, села на лавку.

– А!

– Нет, я ничего... А вы никому не скажете?

– Никому. Поцелуемся!

– А вот! – и она показала ему кулак.

Кажется, Плотникову можно бы было уйти, потому что он завладел Еленой, но ему этого мало было: ему

хотелось, чтобы она его сама поцеловала, но она никак этого не хотела, и когда он еще обнял ее раз, она наотрез сказала, что выгонит его, а целовать его теперь не будет, потому что грех. Так как это продолжалось часа два, то влюбленные сидели уже со свежей галькой, которую принес с собой Плотников. Бог знает, сколько бы они просидели, только скоро подъехал отец. Увидев с улицы, что у дочери огонь, он почему-то вздумал взглянуть с улицы в окно... Ужас его был неописанный, но он сдержался.

Глава IV. Суд отца

«Час от часу не легче» – проговорил он про себя и стал отпирать ворота. Скрип от ворот влюбленные услышали по Плотников, однако нашелся скоро: огонь потушили, а он выскочи и в окно, побежал по улице. Токменцов стоял в воротах с поленом. Как только пробежал мимо Плотников, он бросил ним полено, но полено не попало.

– Я тебе, подлому человеку! Попадешься в другой раз!.. Собаки, усь! усь! – и вмиг залаяли две собаки, за ними шесть, и залаяли все двести старослободских собак, а десять пустились вдогонку за Плотниковым.

Ганька ничего не понимал и кое-как вполз в избу. Вошел в избу и отец.

– Оленка! – сказал он. – Вздуй огонь! Вздуча Елена огонь на лучину; оставшуюся свечку от Плотникова она успела спрятать, а отец об ней позабыл.

– У, подлая! – подошел к ней отец и ударил ее крепко по спине, так что она чуть не упала на пол. Она заплакала.

– Пореви! У! будь ты проклятая!.. Делай завариху, гадина! Есть щи-те?

– Не варили...

– А! все с любовником-то со своим стрескала?

– Тятенька...

– Поговори еще! Осподи, что за напасти! Экой я грешник такой!.. Да будьте вы все... – и он, плюнув, вышел во двор распрягать лошадь.

Поспела завариха, состоящая из ржаной муки, разведенной в горячей воде в чугушке, и сгустившаяся в глиняной латке над огнем, разложенным на шостке. Елена постлала на стол изгребную скатерть, принесла кринку молока, ковригу ржаного хлеба и потом латку с кашей-заварихой. Сняв халат, сапоги, оставшись в рубахе и штанах и перекрестившись, отец сел молча с Ганькой за стол.

– А ты?

Села и Елена. Отец привез с собой полусальную свечу, доставшуюся ему из рудника, и, воткнув ее в середину заварихи, стал наблюдать, как растапливается сало; потом семейство стало кушать, запивая молоком. Отец с сыном ели с аппетитом, но Елена не могла есть: ее душили слезы, слезы не наружные, а внутренние. Кто когда-нибудь бывал в страшном горе и не имел возможности плакать при людях, тот знает эти слезы; человек сидит сам не свой, не чувствуя, что кругом делается, в голове словно туман, только и вертятся какие-нибудь два слова; предметы, на которые он смотрит, кажутся теперь или увеличенными, или уменьшенными, – и глотает человек что-то горько-со-

ленное, а грудь ему давит, сердце бьется сильнее... И сколько страданий выражается на лице и в глазах Елены! То ей кажется, что отец, вместо того чтобы почерпнуть деревянной ложкой кашу, хочет ее ударить, и она вздрагивает, то ей убежать хочется из дому куда-нибудь далеко-далеко или уйти в сарай и там выплакать свое горе.

Сидели все молча. Ганька ел много, как голодная собака, и бессмысленно глядел то на сестру, то на отца. Он не понимал, зачем отец обзывает Оленку нехорошими словами и ни с того ни с сего ударил ее.

– Оленка! ты чего не жрешь? – спросил он сестру с участием.

Отец промолчал, Елена хлебнула ложку и опять перестала есть.

– Пошла прочь! – заревел отец.

Елена встала боязливо и потихоньку, боком, пошла к печке и стала, как статуя. Наружные слезы не шли у ней по лицу.

А Токменцов ест за двоих; уже одна ложка осталась заварихи, и та съелась. Задумался отец, подперев подбородок, и молиться не стал. О чем он думал? Мысль его не останавливалась долго ни на чем. Ему припоминался только ряд несчастий; дранье, смерть сына, положение его жены, при воспоминании о которой как будто что-то кололо его сердце, и самое глав-

ное и свежее – разврат дочери. Ему хотелось избить дочь до смерти, но ему не хотелось встать, руки не поднимались, а ругаться он находил бесполезным, да и не находил слов, как бы выругать дочь. Так просидел он с полчаса, и так простояла Елена, едва переводя дух, чтобы не услышал ее отец. Услышь отец, что она плачет, быть бы ей битой, а пожалуй и калеккой на всю жизнь. Между тем Ганька уже спал на печке. Но вот отец встал, пошатнулся, глаза у него дикие, он зло посмотрел на дочь, сжал кулаки и остановился; дочь выдержала этот взгляд стойко; лицо у нее было белее прежнего, она как будто готова была на все: «Бей, тятенька: все равно, а одним покойником больше будет...» Отец прошел к кровати и лег спать, не молясь богу. Это было с ним в первый раз в жизни. Только один тяжелый вздох послышался, как он лег, и скрежет здоровых зубов, и громко скрипнула кровать от его потяготы. Елена же между тем убрала со стола, погасила лучину и легла на лавку, положив под голову халат отца; сарафан она сняла. Тихо в избе, только Ганька по временам турусит громко и хохочет, да тараканы, черные большие и красные, то шумят, то шлепаются с потолка на пол; не спят отец с дочерью.

«Осподи Иисусе! Да пошто же ты экую напасть нам, грешным, приставил! Чем я-то хуже других, чем я не человек! Вон Ганька-шельмец говорит, что люди, по-

нынешнему, выходит все едино, что собаки. Он это по малолетству судит, оно ведь и правда», – И он пустился думать: почему человек – скот или собака, но хорошего ничего не выдумал; надоело ему эти пустяки разбирать. Чем больше он думал, тем ему гаже казалась жизнь; какой бы предмет ему ни пришел в голову, этот предмет злит его, и он поворачивается зло со спины на бок, с боку на спину... Теперь его сильно беспокоило поведение дочери, но, разбирая свою прошлую жизнь и сравнивая ее с нынешнею молодежью, он приходил к тому заключению, что девка с жиру бесится, ей пора замуж. В это время он услышал всхлипыванья дочери. Несколько времени он слушал это всхлипыванье; надоело оно ему, но язык не ворочался крикнуть.

«Экое дело случилось с девкой! и что это мать-то глазела, поганая, ужо приди-ка, окаянная, што я с тобой сделаю».

– Слышь ты, Оленка, не наводи меня на трех! Елена пуще всхлипывала.

– Тебе говорят! – крикнул отец. Настала тишина, только Елена сморкалась часто.

«Неужели же она тово?.. Спрошу ее я завтра, в баню свожу, мыть себя заставлю. А за этова Плотникова ни за что не выдам. Лучше за Сеньку Турицына выдам, он что-то подмазывался ко мне ономедни, а это-

му Плотникову я шею намылю, так ему и скажу завтра»... Скоро он заснул: через час после этого, наплакавшись вдоволь, уснула и Елена Гавриловна.

Глава V. Илья Назарыч Плотников

Назар Иваныч Плотников, отец Ильи Назарыча, плавленый мастер, – человек очень солидный наружности и не последняя спица в заводской колеснице. Теперь ему уже сорок восемь лет, но он толст, как бык, здоров, как черт. Посмотрите вы на этого человека в заводском соборе; он, разодетый в длинный сюртук, с шелковым платком на шее, в красной ситцевой рубашке, в черных плисовых брюках, засунутых в большие светлые сапоги, стоит впереди рабочих, немного позади заводских властей: управляющего, исправника, прикащика, горного смотрителя; поглаживает гладко причесанные и на помаженные рыжие волосы, окладистую рыжую бороду, брюшко, самодовольно покашливает и важно искоса поглядывает на черный народ, из которого вышел его отец, бывший заводский управляющий. Но стоит только прикащику или управляющему обернуться и посмотреть на его особу, он тотчас примет самый смиренный вид, а по первому их зову он вмиг подскочит к ним, заложит руки назад, станет смотреть в землю и ждать приказаний. Так, однажды он усердно молился на коле-

нях; вдруг управляющий обернулся к нему и кивнул ему головой, – он вмиг вскочил, подскочил к управляющему и стал как вкопанный. – «Вот что, Плотников: выплави к завтрашнему утру сто пудов меди». – «Исполню-с», – отвечал Плотников, тотчас же вышел из церкви, вызвав предварительно из нее двадцать пять человек рабочих, несмотря на то, что они пришли с работы вчера вечером и не хотели идти на работу в праздник. Набрав еще рабочих, заручившись словесным приказанием управляющего, он к другому дню выплавил, сто пудов меди, да еще себе хапнул малую толику – пудов пять. Рабочий народ называет его не иначе, как варваром и отчаянным вором, на том основании, что он назначает рабочих к плавильным печам столько, сколько хочет, и если урок не выполнится как следует, он или пишет записку нарядчику, и тот расправляется с ленивыми посредством розог, или заставляя человека работать вместо одного дня двои сутки. Имея ключи от магазина, где хранится выплавленная медь до склада, распоряжаясь работами на фабрике по своей части, он очень хорошо знает, сколько он выплавит меди из ста пудов руды, – и в этом случае может сколько угодно показать браковки, потому что управляющий требует только металла, а заводский прикащик с ним заодно.

Таким образом, Плотникову хорошо живется: он

имеет в заводе полукаменный дом, оштукатуренный, хорошо меблированный; имеет тысяч пятьдесят наличного капитала, да еще надеется приобрести столько же, тем более что он знает, что дела заводского управления идут плохо. На фабрике он хотя и бывает каждый день, но не надолго, потому что там есть еще мастер и подмастер, которые тоже из-под его лап сыто живут и понастроили себе хаты немного похуже его; ест он хорошо, спит много, начальство его любит. Все хорошо, только ему все еще кажется, что у него денег мало, и хочется получить место заводского прикащика, а так как это место он может получить не иначе, как если прикащику дадут другую должность, то он и заискивает всячески у управляющего.

Ему, наконец, жениться вздумалось. Была у него жена, да умерла назад третий год. Родниться с прикащиком ему не хочется, т. е. ему хочется сперва женить своего сына на дочери прикащика Елизарова, Марье Петровне; члены заводской конторы ему своих дочерей не отдадут, жениться на бедной нет расчета. А у управляющего, женатого человека, есть гувернантка, которая, как ходят слухи, по настоянию жены управляющего скоро будет удалена из дому и заменится новой. Вот он и задумал жениться на ней, несмотря и на то, что она, говорят, вдвоем.

У Плотникова была дочь Раиса; та прошлую осе-

нюю выдана замуж за исправнического письмоводителя Алексея Александровича Серебрякова, живущего и теперь в Осиновском заводе. Как она, так и Илья Назарыч воспитывались нелепо. Положим, что няньки у них не было, как это делается у людей состоятельных, но Раиса и маленькая была девочка капризная, упрямая, злая. Находясь под влиянием глупой матери, считавшей себя важною особой, и жестокого отца, который часто колотил детей за шалость, за провинки, она сделалась надутою, неговорливою и считала себя тоже чем-то вроде барышни. Правда, она умела хозяйничать, шить, но была крайне ленива. Она очень любила покушать сладкое, поспать после обеда, посидеть вечером на улице, любила вечорки, но и там надменничала перед своими подругами. При всем этом надо заметить еще, что она не умела читать и писать, несмотря даже на то, что отец эту науку старался вбить ей в голову и шлепками, и дра-ньем. Совсем другое Илья Назарыч. Раиса еще видела красные дни, а для него, бедного, эти дни достаются только тогда, когда он сидит у Серебрякова. Про детство его говорить много нечего: оно было хуже детства рабочих, на том основании, что его на улицу не выпускали, так как он приходился тогдашнему управляющему внуком; а Раиса, бывшая старше его двумя годами, играть с ним не любила и часто жаловалась

и сплетничала на него то отцу, то матери. Эта вражда между братом и сестрой шла с детства и особенно укрепилась с тех пор, как после одной кляузной жалобы брат вымазал сестре смолой щеки. Это было на двенадцатом году его жизни, и этот несчастный год, когда отец его был в работе на рудниках, он провел на работе около рудников и там чуть-чуть не был задавлен обвалом горы, от которой он таскал глину и песок. На руднике ему много пришлось увидеть и хорошего, и худого, и он, привыкши к рабочей жизни, до того свыкся с ней, что через год, когда отец, получивши должность мастера, взял его к себе и отдал в училище, он часто бегал из училища на рудник. Говорить подробно об его детстве нечего и потому еще, что читателям не нравятся невеселые картины, а веселых я пока не имею, потому что я пишу не идеалы земного счастья. Но какова бы ни была жизнь, у заводского человека тоже могут появляться в голове разные идеи. Вы, может быть, помните, что в заводе есть озеро, называемое по-заводски прудом. На этом пруду заводские ребята и молодые парни с самого основания завода упражняются в рыболовстве и в игре. Рыболовством они занимаются летом и весной, а зимой катаются по льду на коньках и дерутся партиями – старозаводчане с запрудчанами. Драться Илье Назарычу приходилось редко, да и его всегда побивали, за-

то ему позволяли рыбачить. Сначала он рыболовил с ребятами, но когда те стали отнимать у него рыбу, он уходил в уединенные места, и если тут рыба не клева-ла, он все-таки сидел тут долго; положив удилишко на берег и скрестивши руки на груди, он смотрел все на одно место и думал: как бы ему хорошо быть бога-тым, таким же довольным, как и его отец, но жить бы честно, не воровать, не стеснять рабочих, а главное – быть не битым и свободным: куда пошел, туда и лад-но, что хочешь делать, так и делай. Его постоянно му-чила мысль: зачем это все обитатели завода находят-ся в каком-то рабстве? Спросил он стариков рабочих об этом предмете, и те открыли ему глаза. Зло взяло Илью Назарыча, да ничего не поделаешь.

Поступил он на службу в заводскую контору – и ему опротивели плоскости товарищей. Послали его в город к поверенному – там он насмотрелся еще больше плутней. Здесь он столкнулся с порядочными людьми. Он принялся читать книги, но серьезного он не мог понять, знакомые его не могли ему объяснить, и сам он осмыслить был не в состоянии. Так он и бро-сил читать серьезное. В голове забродили какие-то хорошие мысли, и он стал сочинять стихи, но выходи-ло худо. И эти занятия он бросил. Молодая его натура чего-то требовала, хотелось ей жить настоящею жиз-нью, а кругом он видел только гадость и мерзость. С

отвращением ко всему он приходил в завод, где его, прослужившего хорошо в уездном суде и у поверенного, сделали столоначальником; но он не мог ужиться с заводскими порядками; его отправляли в полицию под арест и даже раз выстегали за то, что он сказал грубость одному из членов главной конторы, а не сменяли его с должности только потому, что он переписывал записки управляющего, часто прислуживал у него вроде лакея и раз даже удостоился чести похристосоваться с ним в пасху, – большая редкость в заводе.

Можно сделать заключение, что для молодого человека жизнь была очень скверная.

Елену Гавриловну он знал не с тех пор, как он танцевал с ней на вечорке. Он еще прежде встречал ее раза два на старозаводской слободе, когда ходил к тетке Коропоткиной, и тогда она произвела на него приятное впечатление; потом он видел ее на рынке в базарный день. Он торговал мясо так себе, только для того, чтобы ближе взглядеться в нее. После этого он думал об ней долго, но потом так и позабыл со временем – до вечорки, а с этих пор мысль жениться не покидала его. Но как жениться? Что скажет еще отец... И все-таки, несмотря на эти тяжелые сомнения, он, как мы знаем, путешествовал на старозаводскую слободу и узнал-таки, что и она его любит.

Бежит Илья Назарыч по старозаводской улице и ног под собой не слышит; слышал он, как будто что-то пролетело мимо него, и пуще пустился бежать. Вот залаяло собачье войско, две собаки сцапали его за фалды куртука, третья укусила ему ляжку. От боли он не вскрикнул, а принялся бросать в собак камни, но попадал плохо, да и что он мог сделать с двадцатью собаками, с ожесточением нападавшими на него?

– Проклятая слобода! – шепчет он.

– Эй ты, балда! стой! – прокричал мужской голос в темноте.

– Послушай, друг любезный, прогони, пожалуйста, собак, искусили.

– Цыц, вы, шельмецы! Цыц!.. – Собаки долго еще лаяли, потом мало-помалу стали отступать от Ильи Назарыча.

– Што ты тут шляешься?

– Я... ничего... я у тетки был.

– Я вот те покажу тетку. Скидывай сертучонко-то!

– Послушай, приятель, я человек бедный.

– Эй, Онисим, подь сюда! – и говоривший схватил Илью Назарыча за горло. Явился другой человек.

– В воду его. Да это, никак, сынок Назарка Плотникова!

– Он.

– Братцы! вы знаете ведь моего отца. Зачем вы ме-

ня-то обижаєте?

– За то, что он подлец. Так ты ему и скажи, да и зятьку твоему тоже скажи, а коли не скажешь, в другой раз мы тебя стеганого представим ему. Скидывай, тебе говорят, сертук-то!

– Да ведь он на мои деньги шит, братцы...

– Не ходи в нашу слободу! Зачем ты нас побеспокоил, коли знаешь, што нам завтра чем свет надо на рудник идти? – И с него сняли сюртук со всеми принадлежностями.

– Братцы, как я домой приду... Ведь я за делом ходил.

– Ходи днем. Ишь, нашел удовольствие в наших девках... Знаем, как ты у Токменцова марену копал. А ты еще его не знаешь, а мы за него всегда постоем: девка тебе не пара. – И с бедного Ильи Назарыча сняли еще сапоги, взяли фуражку, жилет и, выведши на мост, толкнули в шею.

– Вот тебе наука. Вдругоредь придешь, ей-богу, выстегаем. Наши девки для своих парней годятся. – И мужики ушли, хохоча во все горло. Немного погодя один из них закричал:

– Эй, парнюга, подь-ка сюда, чего стоишь, хнычешь у перил-то!

Илья Назарыч действительно стоял у перил; он не знал, как ему явиться перед отцовские очи и куда ид-

ти. Он пошел к говорившему.

– Ты, послушай, может, считаешь нас за разбойников. Ты дурак после этого: мы те острастку дали, и обижать тебя не стоит, потому ты парень хороший, в золотые бы руки тебя надо отдать, ошлифовать. Одежду твою нам не надо: на кой ее бес, в озеро разве? Возьми, дуй те горой, только смотри, парень, скажи своему Назарку, чтобы он много-то не разбойничал: мы ведь и того... Знаешь! А в другой раз придешь в чужой огород, ей-богу, выстегаем. Пьешь водку?

– Немного.

– Есть деньги?

Двое рабочих отдали Илье Назарычу его одежду и потом пошли с ним в кабак. Дорогой они сказали ему:

– Мотри, Илюха, не ошибись в расчете: едва ли он, Токменцов-то, выдаст за тебя Олену, потому самому, што он не захочет родниться с твоим отцом.

– Я-то как же?

– Э! мало, што ль, девок-то.

Когда он пришел домой, отец уже спал крепко. Кухарка спросила его, хочет ли он ужинать; Илья Назарыч отказался. Измученный дневными похождениями, он скоро заснул.

Глава VI. История Осиновского завода

Здесь мы делаем небольшое отступление и посмотрим, как устроился Осиновский завод. Благо наши герои спят.

Сомнительно, чтобы северо-восток нашего отечества с давнего времени был обитаем русскими людьми, потому что в то отдаленное время на Руси людей было еще немного, и они еще не забирались в эти края. Уже после, когда показалось людям жить дома тесно и случались такие обстоятельства, что им хотелось жить самостоятельно, свободно, – то люди начали селиться дальше от старых земель и городов, по здешним лесам.

Люди эти промышляли звериным и рыбным промыслом и делали то, чему научились от отцов, или сами доходили до какого-нибудь нового промысла. Такие люди или вели жизнь бродячую, путешествуя по горам, лесам, плавая по большим рекам, как и теперь есть много подобных людей в Архангельской губернии, или селились при какой-нибудь реке. Таких людей, как мы знаем, в XV столетии было не мало, и многие из этих «гулящих» людей, не довольствуясь

звериным промыслом, обогащались посредством набегов на оседлых жителей и крепко пошаливали, чему способствовали глухие леса и большие реки.

Эти бродячие рабочие люди открыли случайно соляные промыслы, железную и медную руду. Сначала они вырабатывали руду сами, а потом узнали об ней сильные и богатые люди, которые и забрали себе большие пространства земли. Но простые рабочие не в состоянии были жить новыми промыслами: изделия их были слишком грубы и неприбыльны, – и, наконец, они совершенно подпали влиянию богатых людей, – которым дарились здесь земли в полную собственность. Крестьянам не давалось права самим на себя разрабатывать руду и торговать ею, так же, как и теперь крестьянин может только за известную плату искать, добывать руду или золото, а торговать этими вещами не имеет права. Люди, жившие прежде на этих землях свободно или только вступившие на эту почву, захватывались и причислялись к владельческим землям, выгонялись на работы и постепенно становились рабами разных богатых людей. Такое положение дела было в конце XVII и развивалось постепенно в течение всего XVIII столетия.

Но рабочих людей все-таки было немного на промыслах и рудниках: туда шли только самые бедные, беглые – или ловились разные бродячие люди, а мно-

гие, не могли вынести тяжелой работы, шли прочь, в другие места. Увеличению числа рабочих способствовали много разные несчастья, постигавшие бедных людей и загонявшие их сюда: голод, обиды и т. п., и особенно – раскол в русской церкви.

В старослободской стороне назад тому лет двенадцать жило семейство Моховых. Это семейство, теперь выселенное в Сибирь за раскол, было потомством Мохова, первого обитателя и основателя нынешнего завода. От Мохова Осиновский завод и ведет свою историю.

Дело было так. В конце XVII столетия сюда забрался один состоятельный человек беспоповщинской секты, Кирила Мохов, служивший у какого-то воеводы. Когда его стали принуждать следовать новому учению, он, человек не глупый, но твердо уверенный в своей безошибочности и ненавидевший своего господина, решился не уступать ему. Его посадили в подвал, пытали там, но потом благодетельствованные им люди выпустили его и долго скрывали в городе. Когда ему нельзя было скрываться долее в городе, он подговорил несколько человек уйти из города попытать счастья в других местах. Годов шесть он был атаманом разбойнической шайки, четыре раза его ловили, но он опять бегал. Года три он грабил строгановских людей и, награбивши много разных вещей, захо-

тел закончить жизнь свою мирно, т. е. почить от своих трудов. Жить в строгановских городах ему не хотелось, потому что он отвык давно от всякого подначала, и после долгих поисков выбрал себе хорошее место у одного озера. Озеро это имело верст двадцать длины и от полуторы версты до пяти верст ширины. Он выбрал себе у озера такое недоступное для других людей место: с одной стороны было озеро, с другой – крутая гора, а с остальных – болото. Построивши две землянки, он с своим семейством, которое состояло из жены, двух больших сыновей – одного женатого, с двоими детьми, одного холостого – и одной дочери, прожил хорошо на новом месте годов шесть. В это время он с семейством ловил рыбу из озера, расчищал лес, стал обрабатывать землю, но земля в первое время давала только корм для скота, который был добыт от крестьян строгановских селений. Питаться одной рыбой эти обитатели не могли, а потому сыновья Мохова часто ездили в города, предварительно грабили по дорогам православный люд и таким образом запасались в городах нужными припасами, обменивая краденые вещи то в городах, то в селениях. Сыновья Мохова завели знакомство с поселянами, и многие из поселян, жившие под началом и перебивавшиеся кое-как, захотели поселиться с их отцом. Это были староверы, переселившиеся сюда почти в то же

время, когда и Мохов поселился к озеру. С сыновьями Мохова жители одного селения послали к Мохову одного доверенного человека с грамотой – принять их к себе и таким образом устроить независимое селение. Старик Мохов сам поехал в селение, выведал от просившихся, что это за люди, я изъявил согласие на их принятие. Переселение продолжалось два года, и затем вскоре переселенцы понастроили десятка два домов вдоль по озеру.

Всей этой толпой управлял сначала старик Мохов, который считался главой, как по старости лет, так и потому, что он умел решать всякие споры и неудовольствия в селении. Кроме этого, он считался за атамана, потому что, если кто-нибудь жаловался на свою бедность и недостатки, он, желая помочь ему, отряжал несколько человек для грабежа, который, всегда делаясь умеючи и ловко, оканчивался благополучно, и половина добытого имущества поступала во владение бедного человека, а другая половина делилась на участников в грабеже. Моховым установлены были такие правила: каждому новоприбывшему члену их секты помогать с общего совета: поселянам, например, строить дом; неженатому дать жену; больному помогать общим советом и всячески заботиться об его сбережении; если человек мужского пола увечился, тому помогать общими силами. Мохов был вооб-

ще старшиною надо всеми; он также справлял и все религиозные обряды – или в особо устроенном для этого ските, или в домах. Он же и дал название селению – Осиново, потому, вероятно, что лес состоял большею частью из осиновых деревьев. По селению так же называлось и озеро.

Осиновские жители крепко принялись за расчистку лесов и за обработку земли, но земля давала мало. Попробовали ловить рыбу, но в селах и в городах покупателей было так мало, что рыбу приводилось возить назад. Выдумывали они и делал и разные вещи, но эти вещи купить было некому... Оставалось только промышлять зверями и воровством; но звери людей не обеспечивали, потому что в селах и городах были свои продавцы этих шкур; промышлять разбоем опасно. Положение осиновцев становилось незавидное, а уйти в другое место не хотелось. Так продолжалось несколько лет.

Осиновцы, потерявшие надежду на хорошую производительность земли, стали рыться в разных местах: одни отыскивали разные клады, думая найти богатства, спрятанные, может быть, татарами, набегавшими на наше отечество; другие отыскивали соляные ключи; третьи, более сообразительные, желали открыть в земле что-нибудь более выгодное. Первые ничего не находили, но последние открыли в го-

ре медную руду, и все осиновцы принялись рыть гору. Одни из них отрывали медную руду, другие находили железную. Дошедши до того, что руду можно сплавлять, они стали ее сплавлять и сплавленные металлы возили в города, где продавали их за хорошие деньги или выменивали на припасы. Потом осиновцы дошли до того, что стали из руды выделять вещи, необходимые для хозяйства, и излишек опять променивали в городе. Таким образом осиновцы обратились в горных рабочих людей и получали от своей работы хорошее обеспечение.

По смерти Мохова, с общего согласия, осиновцами стал управлять старик Илья Крюков. При нем они завели свои суд и расправу такого рода: вор должен был возвратить все имущество хозяину; если он не мог отдать украденного, то становился работником хозяина на год или больше; убийца спускался с камнем в озеро. Свадьбы можно было венчать родителям у себя дома; сводный брак не считался, грехом; крещение дозволялось только при смерти, и человек женатый не мог креститься. Самоубийство не считалось грехом – и проч. При этом не считали грехом брак с сестрой, и не считалось грехом то, что мы называем развратом... Все они жили дружно. К себе они принимали только людей их секты.

Так существовали осиновцы лет тридцать, и в се-

лении было уже около семидесяти деревянных домиков, в которых обитало около трехсот человек жителей обоого пола. Вдруг с ними случилось несчастье. Ездили в город шесть человек осиновцев продавать какие-то медные вещи. На рынке их схватили и представили к воеводе. Воевода долго выспрашивал, откуда они приобретают вещи, потому что в городе давно замечали за ними. Осиновцы молчат. Это молчание воевода счел за упорство, стал их пытаться. Пять человек умерло, шестой решился показать гору. Нарядили военных людей и, заковавши в колодки, несчастного привели в селение. Там осиновцы выручили его, побили много военных людей, а уцелевшие донесли воеводе о том, что они видели большое село, что там люди умеют драться и ими управляет какой-то человек. Воевода еще не совсем знал местность; его разобидело то, что его солдат побили крестьяне, пошел сам на них войной, спалил слободу, убил несколько человек, остальных взял в плен. Но человек пятьдесят, в том числе и внук первого Мохова, убежали в леса.

Когда воевода приехал в город с пленными, тогда явился к нему боярин Граблев с грамотой от царя, что ему жалуются такой-то округ для разработки руды, и стал требовать народу. Воевода отдал ему, в числе прочих, и пленных осиновцев. Граблев обласкал осин-

новцев и стал просить их указать ему место нахождения руды. Осиновцы проклинали всех людей, говоря, что пришел антихрист, но голод и бедствия склонили некоторых на то, что они рассказали Граблеву, где находятся разные руды, но и просили некоторых преимуществ, как-то: давать им половину руды, денег, построить избушки и не селить людей других сект. Граблев сказал, что он этого сделать не может, потому что воля царская такова: добывать руду на царя посредством всякого народа, – и только соглашался построить им избенки.

Стали они строить избушки, а работали плохо. В год избушки были готовы, а добыча руды шла туго, так что Граблев решился принять против осиновцев крутые меры; в селении водворился раздор, несколько семей убежало в Сибирь, но остальные осиновцы на дороге их ограбили; большая половина остальных ушла спасаться в леса, а немногие, особенно молодежь, остались в селении и работали на Граблева. Между тем у Граблева много было набрано народа из разных селений, только селиться этим людям в селении Осиновом было негде, потому что с одной стороны была гора Лапа, с другой – озеро, а с третьей – лес и болото. Новые люди нашли удобным селиться по ту сторону озера, да и по месту рудника им было выгоднее строиться отдельно от старых осиновцев;

Граблев дал этому месту название Слобода Осиновская, а Осиновское селение назвал – Осиновский завод. И так, работы становились обширнее; но мастеров хороших было немного, медная и железная руда разрабатывалась плохо, неумело и лениво. Народу прибывало все больше и больше, в слободе было уже до сорока домов, но народ сначала получал от Граблева очень мало, отчего в обеих сторонах начались грабежи и убийства; по озеру опасно было плавать даже днем.

В это время осиновцы, жившие в лесу и промышлявшие разбоем, соскучились об родном гнезде, им надоело шататься по лесам, да и грабить много не приходилось; тогда они стали высматривать да выспрашивать, что делается в селении, какие там порядки заведены. Узнали, что жить можно. Граблев обещает платить деньги за работу; послали своих стариков к нему просить принять их в мастера, так как эти старики хорошо знают свое дело. Граблев принял их радушно и положил платить мастерам по рублю за сто пудов чистого металла, а рабочим в неделю по гривне. Но это была приманка. Граблев знал, что осиновцы свое дело знают, силой их заставить невозможно, поэтому он и дал им такую плату до поры до времени. Собрались все беглецы в Осиновский завод, обстроились как следует, приняли начальство над осталь-

ными и принялись за работу, но все-таки работа шла туго. Приехали к Граблеву иностранные мастера, покачали головой и посоветовали ему строить фабрику на озере. Долго дивились осиновцы над такой выдумкой, а Граблев, оставив осиновцев от управления над рабочими и разных мастерских занятий, велел выпустить озеро посредством канала в пробегавшую в версте от озера, налево, против горы, речку и строить плотину между Осиновским заводом и Осиновской слободой. Народу потребовалось много; плату Граблев обещал рабочим хорошую. Рабочих людей действительно явилось много. Работа закипела. Поспела, наконец, и фабрика; Граблев объявил народу, что обе стороны назвал он Осиновским заводом, что по указу государеву жители Осиновского селения подарены ему навсегда, а Осиновской слободы – причислены к нему для работ, все состоит под его ведением и он будет нести за них всякие повинности. Осиновцы ахнули, да поздно... Попробовав некоторые бегать, их ловили...

Кроме Осиновского завода, у Граблева были другие рудники верстах в пятидесяти, ближе и дальше от завода, а так как местность Осиновского завода ему нравилась и народу было уже около тысячи человек, то он избрал его резиденцией своих владений и велел строить себе большой каменный дом. Остава-

лось только завести администрацию, потому что ему за всем следить было некогда: нужно было часто ездить по делам в города. Вызвать из больших городов приказных людей тоже дело не подходящее, потому что приказный люд в то время отличался чрезмерною грубостью, составляя что-то среднее между дворянами и вооруженной силой, и народ их не любил. Положиться на мастеров-иностранцев тоже неловко, потому что они русского языка не знают. Долго думал Граблев и решился определить стариков старослободчан в разные должности, какие теперь называются: надзиратели, штейгера (штейгера, впрочем, были иностранные), нарядчики и другие. А старослободчан Граблев назначил потому, что они говорили с толком и прямо, не пьянствовали и работы исполняли хорошо. В год он убедился, что работы действительно идут хорошо, и во всем доверился им. По мере того, как у него увеличивалось производство, он строил другие заводы, посылая туда старослободчан и выписывая из-за границы мастеров и механиков для улучшения горного производства.

Металлов у Граблева было много, и он каждое лето отправлял их караванами по рекам в разные города, потом в Петербург, откуда некоторые шли за границу. От правительства он получал большие награды, от продажи – большие деньги, и в десять лет его житья

в заводе завод походил на город: в нем была православная церковь, две молельни у раскольников, большой господский дом, на том же месте, где теперь стоит большой господский же дом, три фабрики: кричная, доменная и кузнечная. Жители обеих половин завода года три жили между собою мирно, выговорив себе право: старослободчанам селиться в своей слободе и не селиться тут запрудским, а старослободчане, по старшинству, могут строить дома и в запрудской стороне; за работы они получали муку и небольшую плату. Но потом стали появляться случаи такого рода, что запрудские попадались в воровстве железа; запрудские говорили, что воруют и старослободчане, но старослободчан не могли поймать с железом, хотя они целую лишнюю барку отправляли при караване с своим железом (прикащиками на караванах были старослободчане). От этого обе стороны возненавидели друг друга до того, что в старой слободе даже днем нельзя было пройти запрудским.

Кроме праздников и одного летнего месяца, рабочие должны были работать постоянно то на рудниках, то на фабриках, то в лесу. Работы были назначены и днем и ночью. Каждый мужчина должен был работать с 5 часов утра до 11 часов пополуночи (дня), остальное время был свободен до 5 часов утра, и с 12 часов до 5 часов утра. За ночные работы прибав-

лялось больше жалованья и хлеба. Прогулявший рабочий день рабочий должен был наверстать суточной работой или поставить вместо себя рабочего. Ни один осиновец без спросу начальства не мог отлучаться из завода в город или куда-нибудь. Такие меры людям казались строгими, но они ничего не могли сделать, потому что ослушников, после нескольких наказаний, сажали в городской острог, а потом работа обратилась в привычку. Ребят не заставляли работать до семнадцати лет; затем им начинали давать работу. Только одних женщин не трогали; они справляли свои дела дома: рожали исправно детей, водились с ними и занимались хозяйством. Были, правда, и тогда такие люди, которые работами не занимались. Это были люди, которые пользовались особенною милостию нарядчиков или ставили вместо себя рабочих, а сами добывали себе пропитание работами на жителей и торговлей в заводе.

В заводе Граблев завел школу и заводскую контору, которая управляла другими заводами. В школе учились только дети запрудских жителей, но в контору больше поступали дети старослободчан, которые детей своих учили сами. Отправлявшиеся с караванами старослободчане сильно богатели, потому что барки нередко разбивало, железо тонуло, а после, в мелкую воду, вытаскивалось и поступало в их пользу: напи-

шут отчет, что утонуло, да и все тут. Они, побывавши в разных местах, видя много людей, возвращаясь домой, выглядывали уже не прежними святошами: начинали отставать от прежних обычаев и исправляли свои обряды только для порядка. Они уже не хотели жить в слободе, начинали важничать, строили каменные дома в запрудской стороне и на своих смотрели свысока; владелец дорожил ими, считая их за честных людей. По своему наряду они уже несколько не походили на раскольников, хотя и говорили старослободчанам, что они держатся их сект. Старослободчанам казалось это соблазном, они упрекали про себя своих начальников, но вслух ничего им не могли сказать и думали, как бы им самим сделаться такими же. Запрудских это злило. Были, конечно, и там честные, трудолюбивые люди, но Граблев не видел их.

Но вот Граблеву душно сделалось жить в заводе, неприятно показалось такому богачу водить дружбу с местными начальниками, которых он мог бы трусить, но которые его боялись, – и поехал он в Петербург, а оттуда за границу; на место же себя назначил управляющего из старослободчан.

Старослободчане стали лениться, им подражали запрудские, начали грабежи, разбои на озере. Управляющий решился, наконец, употреблять строгие меры: он стал сажать людей в острог, приказывал нака-

зывать розгами, – рабочие унялись, но работы шли плохо, с караванами год от году больше и больше стало случаться несчастий; стали воровать из фабрик металлы; провианту недоставало, денег не выдавали.

Стали рабочие жаловаться по начальству – им же было хуже, потому что им не доверяли...

И при другом управляющем положение рабочих не улучшилось. Завод, правда, по наружности казался красивым, появилось больше домов каменных, стали строить единовременную церковь; сделали новую плотину, перестроили господский дом, фабрики, но в деревянных двухоконных домах обитала страшная бедность. Управляющий из новослободчан всячески старался, чтобы руды добывалось больше. Рабочих посылали на работы палками, за работами били; увеличивалась кража металлов, воровство и беспорядки.

Умер Граблев; объявили в заводе, что владелец теперь сын его, Григорий Иваныч; сослужили в церквях молебны за его здравие, выставили рабочим три бочки водки; закутили рабочие обеих сторон, передрались обе стороны, и работы прекратились на трое суток. Теперь порядки сильно изменились: Граблевы – их с течением времени сменилось несколько поколений – не жили больше на заводе, который, таким образом, вполне оставался в распоряжении управляю-

щих. Дела завода постепенно расширялись: число рабочих увеличивалось, отыскивались новые места работы. Теперь и чиновничество много изменилось: управляющий был для рабочих такое лицо, которого они могли видеть только в церкви, на дом к нему рабочих не допускали, а за всеми нуждами рабочие допускались сперва к нарядчикам, нарядчики – к прикащикам, которые, отчитываясь управляющему, делали что хотели и в год наживали тысяч по пяти денег, если не больше. Но, несмотря на бедственное положение народа, Осиновский завод считался одним из самых богатых.

Со времени первого Граблева в Осиновском заводе был только один Граблев, Корнил Петрович. Он, выросши за границей и проживши там много лет и много денег, вздумал посмотреть: что такое за Осиновский завод? откуда это ему шлют деньги сотнями тысяч каждый год? И вот он поехал, взяв с собой иностранца, которого он уполномочил быть управляющим. Приехал он в завод, встретили его с хлебом и солью, зазвонили в колокола на церквях, собрался народ на площади, прокричал ему приветствие. Он отправился в собор, где отслужили за его здоровье молебствие. Выспавшись, он на другой день изволил принимать: заводского исправника, который назначен был горным ведомством для производства следствий

по Осиновскому округу, членов главной конторы, главного поверенного – ходатая по заводским делам в городах, прикащика, протоиерея соборного и горных инженеров, служащих в его округе от казны. У его дома между тем толпился народ с жалобами, но он не удостоил выйти к ним. Только одна женщина как-то вошла к нему с жалобой. Он, удостоив ее расспросить, в чем дело, велел ей выдать десять рублей и приказал никого к нему не пускать из челяди. В пять часов у него был обед, на который, между прочим, приехали из горного города главные лица; за обедом играл оркестр из осиновских музыкантов. На другой день он тоже давал бал, на который с улицы смотрела любопытная толпа, в первый раз увидевшая иллюминацию и фейерверк. На третий день он удостоил посетить фабрики, мельком оглядел стены, машины и рабочий народ, которым он велел выдать по рублю денег. Через день он уехал.

После этого в Осиновском заводе не было ни одного владельца, и только очень немногие знают даже в настоящее время о имени владельца да что есть владелец, потому что в день его именин работы останавливают. Поэтому управляющие и делали что хотели в заводе, доверяя с своей стороны прикащикам, которые делали с рабочими все, что хотели, сменяя при этом с должностей и назначая на должности по свое-

му усмотрению.

Очень немудрено, что Онисья Гавриловна за свою дерзость, – беспокоить управляющего, – получила наказание. Она должна сперва сходить к нарядчику; если он ничего не в состоянии сделать, подать жалобу заводскому исправнику. Но заводский исправник, конечно, всего скорее должен был держать сторону управляющего и прикащика, которые при всяком случае могли ему замазать рот деньгами и через которых он мог потерять место. Идти к прикащику не стоит, потому что прикащик смотрит на рабочего, как на своего кучера, или еще хуже.

От таких-то управлений рабочим приходилось переносить из года в год много бедствий, на которые не обращалось никем внимания, ни даже заводскими исправниками, обязанными защищать рабочих, и рабочие так свыклись со своею долею, что ничего не ожидали лучшего впереди. А если нельзя ожидать лучшего впереди, разве можно желать еще худшего?.. Бывали, впрочем, в разное время и такие случаи, что осиновцы, во время голода, хотели разворочать господский дом, но они не делали этого потому, что пользы от этого мало; но зато все они, несмотря на многолетнюю вражду старослободчан против запрудчан, постепенно утихавшую от сближений, – все они, от пятилетнего ребенка до последней минуты жизни, нена-

видели всякого начальника и ни о ком не отзывались, что это хороший, добрый человек; у них сложились свои печальные песни.

В настоящее время, кажется, подобного ничего нет.

Глава VII. Токменцов действует на другой день иначе

Гаврила Иваныч пробудился рано утром, а именно в четыре часа. Было еще не совсем светло, поэтому он лежал еще с полчаса. В голове его бродили разные мысли, которые он не мог привести в порядок. Первое, что попало ему в голову, это было:

– Экая эта девка-то озорная, осподь с ней! А как подумаешь, Гаврила сын Иванов, ты-то сам как женился!.. А ведь лихо я женился. Мать моя Матрена была злющая-презлющая баба, не тем будь помянута... Ну, да про это и толковать не стоит, потому они дуры, да и наша братия, тоже мое почтение, посвистываем им по рылу, потому они не в свое дело суются, ворчат; пьян напьешься, в компании али с горя, так вместо того, чтобы приласкать, гвалт поднимут... Ну, опять тоже иная баба за пояс ткнет нашего брата. Вот хоть бы моя жена...

На этом он остановился: ему представилось, что его жену дерут теперь, и обидно ему сделалось за жену; мысли приняли другое направление:

– Вот теперь сына застегали... А какой он был послушмяный, толковый... Поколачивал я его! Жалко.

Эко, осподи, житье!.. Тоже вот теперь житье штейгеру, так вот житье! Ездит себе два раза в сутки на работы, за нарядчиком смотрит да как мы робим, где што ловчее сделать. А ведь небось и я бы сделался штейгером, так куда бы ему, за пояс бы ткнул... Ведь не сделают... А славно бы было! И Олену бы я выдал не за чучу какую-нибудь, а теперь... поди ты... Э-эх-ма! Осподи, осподи! коли бы деньги были, поставил бы я тебе рублевую свечу. Уж замолил бы я тебя!.. А то што, чем я пригоден, коли все-то в месяц получаю рубль на ассигнации. Вот Назару Плотникову ловко: отец был управляющим, поди, десятирублевые свечи ставил, сын тоже – и дурак дураком, а смотри, нахапал денег; в рудниках был на работе со мной, да попал в мастера. Гляди, што он творит. Али осподь ничего не видит, коли што творят прикащик, нарядчик да этот Назарко? А поди-ко ты, Гаврилка Токменцов, к этому самому Назарку, да обскажи ему об его Илюшке, так што будет? туда тебя угонят, что уж не знаю...

И Гаврила Иваныч утер своею широкою ладонью глаза.

– И Оленки жалко, право, жалко; одна она у меня девка, а жены нетука дома, не с кем ладненько посоветоваться. Ну, што я, мужик, сделаю тут? Ну, я ее побью, изругаю, што будет? Ну-ко, Гавря, скажи?.. А то и будет: я со двора, она со двора, а там и пойдет пи-

сать, как Аниська Бабиha.

И мысли Гаврилы Иванаыча были скверные, все одна другой хуже; наконец, он пришел к тому выводу, что дочь нищенствует, хворает и в этом виноват один он, потому что он беден, и виноват кто-то другой, на том основании, что он из этой бедности вылупиться не может никаким манером.

В таком настроении Гаврила Иванаыч сел на кровать и стал смотреть на дочь; лежит Елена на боку, подложив под щеку левую руку, а правой обняв свою грудь, по лицу ползают мухи и, испуганные ее тяжелым дыханием, изредка взлетают кверху с жужжанием. Жалко стало отцу дочери, вздохнул он, встал и вышел на двор. Погода стояла все сырая и мокрая; дождя, впрочем, не шло, но Токменцов думал, что дождь еще не одни сутки будет идти. Лошадь, находящаяся в стойле, еще лежала, он не стал тревожить ее, а только положил в корыто сена, сходил на озеро за водой, вылил четверть ведра в корыто и смешал ее с сеном, положив в мешочек овса. Потом он поскреб немного в станке и назем склал в кучу, находящуюся в его огороде, где росли капуста, картофель, репа, морковь и редька, любимые и необходимые кушанья рабочего человека.

– Ишь ведь, какой ноне урожай на это. А все Оленка хлопотала... Ай да Оленка, молодец!..

И опять в голове его появились нерадостные мысли, так что он плюнул и ушел из огорода, через двор, на улицу, неизвестно зачем. Из двух соседних домов вышло четверо рабочих в таких же нарядах, как и он ехал вчера, только у тех за кушаками на спине были засунуты топоры с топорищами, кверху востриями, на плечах у двоих по лопате железной с черенками, а у всех на спинах болтались мешочки с хлебом и онучами.

– Здорово, дядя Гаврило!

– Здорово, братцы. На кучонки?

– А ты чего?

– Ничего. Вчера приехал.

– Куды у тя Онисья-то устерелешила (убежала)?

– Да бог знат.

– Э, брат, молчи. Знаем вас: ты свистни, а мы смыслим.

– Молчите, братцы.

– Ну... Прощай, дядя Гаврило: в другое время покалякаем.

Рабочие ушли. Гаврила Иваныч немного утешился. Его утешило то, что Онисья успела предупредить своих подруг, которые новозаводчанам не разболтаются, а мужчины, будь они хоть и новозаводчане, своего брата не выдадут, тем более что подобные вещи говорят непонятно для ребят – малолетков и под-

ростков. Подошедши к погребу, Гаврила Иваныч увидел, что он заперт; пошел в клеть – корова спит, овечки тоже все целы и при появлении его встали, только корова, махнув хвостом и лизнув языком левый бок своей утробы, стала глядеть на него тупо.

– Ну, спите, христовые! – И он, вышедши из стайки, вошел в какой-то чуланчик, около нее устроенный. Там были куры. Сначала заклоктал петух, потом загоготали курицы. Вышел он и оттуда, и скучно ему сделалось, так скучно, что словно у него не стало хозяйки. И сознавал он, что он редко-редко заглядывал в клетушки, стайки и огород, а заходил теперь – бог весть почему.

– Эх, хозяйка, дай бы бог, чтобы ты выходила. Ведь это все твое – только ведь у тебя и есть, а Ганька... задерут и ево...

Чтобы развлечься, он принялся обделывать дровни; опять полезли мысли нехорошие, и он решил истопить баню. «Выпарюсь да вымоюсь, легче будет, а там что осподь бог даст», – думал он.

Затопил он печку в бане и стал у нее. Плохо горят сырые дрова, кое-как он разжег их: загорели славно. Страшно ему чего-то сделалось, закурил он трубку и не сводил глаз с горящих дров. Представлялась его воображению его первая любовь: «Вот иду я по улице, попалась навстречу Ониська, красивая, тол-

стая. Вместе я с ней в ребятах игрывал. Цапнул я ее: взвизгнула моя девка и убежала. Постой, думаю, задам я тебе острастку и ласку. Как-то иду с работы, а она идет с холстами навстречу: здравствуешь, говорю, Онисьюшка?.. Она дураком меня обозвала и убежала. Так и стали мы с ней встречаться да баловать. Моя Онисья, вижу, поддается: выйду на улицу в праздник – и она тут, в хороводах, со мной играет и варнаком обзывает. Ну, я и говорю отцу: жениться хочу на Онисье Харламовой. А захотел я крепко жениться, да и что в самом деле: хочу сам хозяином быть, дети будут, провиант пойдет. А отец артачится: рано, говорит, тебе, шельмец, жениться, побогаче сыщем, а у нее – шиш в кармане да грош на аркане. Ну, да соседи, спасибо, посоветовали ему. И женился Гаврилко, и из Гаврилки сделался Гаврилой Иванычем и прожил с ней уж вон сколько, да ничего же. А тоже говорили про нее то, и другое, и пято, и десято...»

– Тятенька! – сказала робко Елена, появляясь в дверях у бани. А надо заметить, у здешней бани предбанника и крыши нет: в нее входят прямо из огорода и в ней раздеваются.

– Будь ты проклятая! Эк ее, испугала как!

Олена была босиком, в сарафане, без платка на голове.

– Чего тебе?

– Печку-то топить али нет?

– Неужли так: поди-кось, жрать захочешь! Хлеб-то есть?

– Две ковриги...

– Ну, завтра испеки. На рудник надо...

Елена не шла. Она что-то хотела спросить у отца.

– Ну, чего еще стоишь?

– А мать-то где-ка?

– Не твое дело; пошла! Спроси у своего-то любовника.

Елена ушла. Токменцов, немного погодя, тоже вышел из бани, которая уже истопилась и трубу печки которой он закрыл. Ему сильно хотелось поговорить с дочерью насчет ее любовника, но он не знал, как бы лучше выпытать от нее правду.

Корова была подоена и выпущена на улицу, овечки тоже выпущены, курам задан свежий корм. В избе печка затоплена, в печке стоит чугунок, в которой варится картофель; в другой чугунок варится свекла. На лавке лежат опрокинутыми только что вымытые чашки, ложки, кринки; Елена моет стол с дресвой.

– Есь рубаха-то мне-ка? – спросил Токменцов, войдя в избу.

– Есь. Вчера выкатала.

– Ну, так добудь, и штаны добудь.

Елена полезла в сундучок и вытащила оттуда руба-

ху и штаны. У Токменцова было только по паре рубях и штанов.

– Ишь, выкормил, выпоил... и любовника нашла. Как нет дома отца и матери, и давай приглашать к себе! Ну, скажи, гожее ли это дело, образина ты эдакая?

Елена принялась плакать.

– Што, небось не правду я говорю! Тебе все ничего, а мне-то каково! Кто про вас пропитал достает? Кто вспоил, вскормил тебя? А? Разве мне не больно?.. Ну, для кого я истягаюсь, как собака? Ты это подумала? Ну, какими теперича я глазами на людей-то буду смотреть? Ты-то, ты-то как в люди покажешься! У! – и он выругался и плюнул. – Ну, што ты реवेशь-то, а? Оленка!

– Тятенька...

– Говори всю правду.

Елена стала на колени пород отцом:

– Тятенька, голубчик... делай, што хошь со мной, сизой ты мой, хоть убей ты меня...

– Да ты что турусы-то на колесах разводишь? Правду говори!

– Ей-богу, я не виновата. Вот то отсохни права нога.

– Зачем ты целовалась с ним?

– Сам он целовал.

Отец ударил ее по щеке, щека покраснела.

– Тятенька, голубчик... – и она поклонилась ему в

ноги.

– Говори: зачем ты егопустила?

– Сам... он сам... Отец толкнул ее ногой.

– Пошла, чтобы духу твоего не было.

Елена заревела, а Токменцов ушел злой во двор. Долго он ходил около лошади, и долго его мучило поведение дочери. Но как больше он думал, тем больше ему становилось как будто легче. «Нет, она этого не сделает», – думал он, и ему совестно становилось, что он побил ее. Ганьку кое-как разбудили идти в баню. Там отец вымыл Ганькины штаны и рубаху, а потом повесил их сушить на шест, вделанный в бане. Выпарившись, Гаврила Иваныч пошел через огород купаться в озеро. Пока он шел, из другого огорода крикнула ему старушка:

– Баньку истопил!

– О-о!

– Пусти, как вымоешься.

– С Оленкой сходи.

Выкупавшись, он тем же путем пришел в баню и там оделся. Таким же образом выкупался и Ганька.

– Олена, поди-ка скажи Терентьевне, што, мол, готова баня-то.

– Я, тятенька, пойду же с ней-то?

– Поди.

Гаврила Иваныч очень был доволен баней; он лег,

потягивался, дремал и, кажется, ни о чем не думал. Ганька тоже был весел.

– Ись бы, тятка.

– А вот Оленка будет.

– А ты ее, тятка, больно треснул. За што ты ее так-то?

– Не твое дело.

Сын замолчал.

Токменцову теперь не приходили невеселые мысли. Он думал теперь о том, что ему нужно починить к завтраму сапоги и лопоть (халат) да, пожалуй, взять серый зипун на случай. Пришла Елена. Лицо у нее красное, волосы нечесанные. Стали обедать: сначала тертую редьку с картофелью разваренною и квасом, потом похлебали свеклу, тоже с квасом и картофелью. Токменцов съел три ломтя хлеба, Елена и Ганька по два.

Глава VIII. Как токменцовы проводят остальное время дня

После обеда Токменцовы не легли спать. Гаврила Иваныч сползал на полати, достал оттуда лапоть, в котором хранились шила, ножик, дратва, щетина, нитки и прочие принадлежности, необходимые для сапожного и башмачного ремесла.

– Олена, принеси-ка корыто с водой.

Елена ушла скоро воротилась с маленьким корытом, в нем была вода.

– Да ты бы теплой принесла. Впервой, што ли? – взъелся отец, сидя перед лавкой на обрубке дерева, разложив по лавке инструменты и принимаясь чесать нитки для дратвы. Когда теплая вода, находившаяся в печи в чугушке, была налита, Гаврила Иваныч положил туда кусок черствой старой кожи, которая валялась у него с тех пор, как он нашел ее на дороге. А Токменцов любил все подбирать: и подковы, и гвоздики, и железки разные, и худые башмаки, даже лапти, которые носят очень немногие рабочие Осиновского завода, и даже никому не нужные тряпки; он всему найдет место, потому что покупать новое ему не на что. Сапоги он шил сам, башмаки жене тоже шил сам из

разных голенищ, которые он или находил, или выпрашивал у зажиточных соседок. Холст у них был свой, и теперь вон Елена вытащила из чулана корчагу, вымыла ее, налила в нее воды, положила туда десятка два аршин изгребного самодельного холста, а потому еще налила горячей воды на холст и, засыпавши его золой вровень с краями корчаги, вдвинула корчагу в печь. Сермягу Токменцов покупает у заводских же жителей, а именно у Степана Мокрушева, который хорошо ее выделывает, только не может еще дойти до того, чтобы готовить тик на летние халаты мастеровым, как называют себя все горнорабочие, и в том числе Гаврила Иваныч. Халат Гаврила Иваныч надевает, когда холодно, и он, как и сермяга, большею частью на работе лежат без употребления, потому что в них работать неудобно, да и зимой, при работе, ему в рубахе тепло. Стал Гаврила Иваныч починивать сапог, а Ганька залез на печку, но отец не дал ему спать.

– Ганька! иди-ко, поддержи. Ганька молчит.

– Тебе говорят?..

Ганька слез не торопясь и, почесываясь, подошел к отцу, тот замахнулся на него рукой, но не ударил.

– Держи! Ишо в бане был, а смотри, как рубаху отхалезил (отделал).

– Мне-ка спать охота! – произнес Ганька протяжно и зевнул громко во всю избу. Отец промолчал. И когда

Ганька держал неправильно или лениво дратву или кожу, отец ругал его или замахивался на него рукой. Когда держать было нечего, Ганька пошел было на печь, но отец опять заставлял его что-нибудь делать.

Пришел Колька, шустрый мальчик, с белыми, как лен, волосами, в загрязненной рубаше и босой. На ногах много было грязи.

– Ах ты гад ты поганой! Где ты был?.. – закричал на него отец.

– А у тетки был! Гли! – и Колька показал ему пискульку – сделанного из дерева петушка. – Гли, тятка, как свистит! – и он начал насвистывать в пискульку, поскакивая и подергивая рубашонку.

– У, балбес! Поди, вымой парня-то в бане, – сказал он Елене, которая в это время ставила на печку квашню (т. е. тесто ржаное в деревянной шайке, похожей на кадушку, вмещавшую в себя восемь и девять ковриг печеного хлеба).

– Я не пойду, тятка, не пойду! Оленка – бука!

– Ганька, дай-ка плетку!

Колька остался этим недоволен, закусился и, испугавшись угрозы отца, полез к Елене и покрылся ее фартуком.

– Оленка! гли, какая игрушка-то, – и он не давал ей покою с своей пискулькой: пойдет она, он за ней – и тербит ее за сарафан, или перед ней станет и давай

пикать. Это пиканье вывело отца из терпенья.

– Ах ты, проклятой парень! – и он встал. Колька вмиг спрятался под кровать, но отец все-таки пнул его ногой, отчего Колька заревел на всю избу и тогда только замолчал, когда отец погрозил ему плеткой. Опять Гаврила Иваныч сел за работу, а Елена села около него и стала починивать отцовскую сермягу, с кожаным воротником и обшлагами у рукавов; Ганька тоже заштопывал материны башмаки.

Несмотря на то, что кожа не держала ниток, рвалась, Ганька ковырял башмак. Отец тоже ругался, что кожа на сапоге изнасилась. Он теперь, кажется, только о том и думал, как бы ему похитрее започинить; его бесило то, что дратва рвалась, кожа лопалась хуже, он плевал с досады то на сапог, который починивал, то на пол, то приговаривал разные любимые словца. Ганька вторил отцу, которому почему-то вдруг не понравилось, что сын бездельничает.

– Чево ты дратву-то рвешь попусту, шельмец ты экой!

– Я, тятка, чиню.

– Так чинят? Брось!

Танька забился на полати и там продолжал свою работу. Только одна Елена сидела смирно. Она сидела на лавке, спиной к отцу, около окна, и молча заштопывала прорехи и дыры сермяги. Ни одного ше-

пота она не произнесла, ни одной морщинки не было на ее лице, только ей надоели мухи, и тут она молча отмахивалась от них. Колька ее не беспокоил: он нашел себе товарища в коте, которого он бесцеремонно таскал по полу за хвост, любуясь своим искусством и ловкостью отвертываться от лап кота, который пищал. Наконец, кот вырвался, вскочил на печку и стал облизываться, злобно глядя на Кольку, как будто думая: уж не буду же я, коли так, спать с тобой. Он пошел по перекладинке, сделанной от печки к стене для сушенья тряпок и белья. Шел он, как видно, к Елене. Между тем Колька делал свое дело: он вскарабкался на печь, нашел лучину, бросил ее с хохотом в кота, кот соскочил на лавку, а Колька свернулся на пол и заревел... Все не торопясь встали и подошли к Кольке, который расшиб себе левое колено до крови и лоб, но неопасно. Отец заругался, стал искать плетку, но не нашел плетки. Долго ревел Колька; ногу Елена обернула тряпкой, на лбу остался большой синяк, и через час Колька уgomонился и по-прежнему стал баловать, только прихрамывал на левую ногу. Ему уже не в первый раз приходится падать с печки.

Елена все работала, а в голове ее шла своя работа. «Што-то Илья делает?» – думала она, и долго думала она на эту тему. Заслышит она брань отца на дратву или на мух, и думается ей: «Отчего это он та-

кой злой! Хоть бы умел починивать-то! А тоже хвастается, што он сапоги да башмаки умеет мастюжить». Она старалась отыскать причины: почему отец у нее такой злой? зачем он драчун такой? Придет с работы – мать ругает, весь день на ребят кричит, а ладом не скажет; на работу пойдет – тоже ругается... «Нет, он добрый. Иной бы выгнал меня из дому, избил бы». И она тяжело вздохнула; в это время она так любила отца, что скажи он ей: Олена, поди-ко, сходи в рудник за топором – пошла бы. Она не думала теперь об матери, как будто бы и не бывало ее.

– Ганька! поди-ко к Федосееву: попроси табаку. Ганька пошел, за ним поскакал и Колька, подпрыгивая.

– Скоро свадьба-то, мила дочь? – спросил отец ядовито, когда мальчуганы ушли; голос его дрожал.

– Чья, тятенька?

– Чья? Твоя! Елена промолчала.

– Что ж, ну, и ступай, и не ходи сюда, штобы и праху твоего здесь не было. Что ж ты буркалы-то в окошко устала? Али Илька идет?

Елена молчит: в глазах двоится, в голове жар. «Умереть бы уж!» – думалось ей невольно.

– С богом, мила дочь, с богом, Оленка.

«Буду же я молчать!» – думает Елена, и в первый раз в жизни она осердилась на отца. Хотелось ей пла-

кать, да слезы не шли.

– Что же ты спасибо-то не сказываешь, дура? Ты в ноги должна мне поклониться. – Отец, говоря это, улыбался, но как улыбался! Его душило горе, и он не умел выразиться как-нибудь так, чтобы дочь почувствовала всю гадость своего поступка. Жена его поступила бы иначе: она бы целый день проворчала, прибила бы дочь, как умела, на другой день она бы не стала ругаться, а у Гаврилы Иваныча не было такой храбрости, да и охоты не было. «Бить, так было бы за что бить, а то стоит, – еще греха наживешь».

– Оленка! – вдруг крикнул отец и стал глядеть на спину дочери; в левой руке был сапог с шилом, а в правой дратва с щетиной.

Елена молчит.

– Кому я говорю – стене, што ли? А?!

Елена молча повернулась к нему лицом. Она плакала.

– Послушай ты, дура набитая, дурака отца: што тебе за дурь пришла в голову?.. а? Елена молчит, плачет.

– Тебе говорят! Я вышибу из тебя эти нюни-то. У-у!! – и он заскрежетал зубами. – А вот те сказ: Плотникову я все ноги обломаю, коли он еще сюда придет. Всем закажу то же сделать. Слышишь!.. не выдам я тебя за него замуж... Тебе говорят!

– Тятенька! я ни за кого не пойду больше.

– Ладно. Слушай, мила дочка. Ты думаешь, я не знаю, што тебе хочется замуж, – знаю. А Плотников тебе не пара, потому приказей, а ты мастерская дочь. Да и Ильке отец не дозволит жениться на тебе, потому он мастер.

– Я ни за кого не пойду...

– Я тебе говорю по-отцовски, потому эти дела знаю. Илька дурит, это я и ему скажу, и всем скажу. Найдем жениха по своей братьи.

– Тятенька!

– Дура ты, девка. Мне, што ли, не обидно это, да дело-то такое... такое, што Илька на тебе не женится. Вот што обидно-то; и я этова не желаю, потому не хочу родниться с подлыми людьми. И выброси ты эту дурь из головы. Да разве мало нашева-то брата. Э!..

Он принялся за работу, дочь повернулась к нему спиной и тоже задумалась. Долго она думала, передумывала отцовские слова, и казалось ей, что отец говорит правду; а если он ей зла желает... Нет, Илья не такой: он не пришел бы к ней в избу, не целовал бы.

– Слышь, подхалюза, поди-кось, запряги лошадь, – сказал отец дочери. Она ушла во двор.

«С девками иметь дело – просто беда, особливо с дочерьми. Девка што, – известно дело, мужика ей надо, с жиру бесится, и мужику девку надо, а дочь жал-

ко. Ну, роди она, што с ней будет? эти же скоты проходу ей не дадут, а я-то тут чем виноват! Добро бы провьант на ребенка давали, – нет. Вон ей минул восемнадцатый год, и провьант прекратили – выдавай, значит, замуж... А уж за Плотникова не выдам. Сказано: не хочу родней иметь мастера-подлеца – и конец: сроднись с подлецами да мошенниками, сам будешь подлец и мошенник. Вот что! А девка, што, – дура. Ей понравился приказный, мастерской сынок, и взбеленилась. Экое диво стряслось: как не идти замуж! А потом што будет: муж попрекать мной станет, на порог меня не будет пущать, да и какое будет житье, коли свекор будет заставлять сапоги ему надевать... А то бы мне што: весится он те на шею, дурак эдакой, да ты знашь, што он разумной человек, ну и с богом, коли по любви, по совету да нами не брезгует... Это так».

Пришли Ганька и Колька. Отец распек их за то, что они бегали долго. Пришла Елена и объявила, что лошадь запряжена. Гаврила Иваныч оделся: надел сперва сапоги, обернув предварительно ноги онучами, потом сермягу, опоясался кушаком, за пазуху положил кисет с махоркой, кремнем, плашкой и трутом и взял шапку.

– Ты скоро? – спросила его Елена.

– Скоро. Кто будет, скажи – скоро. – Он ушел. Немного погода заскрипели ворота, и отец уехал, сидя

в телеге, по улице. Домашние не знали, куда он уехал, да он и не любил даже жене рассказывать об этом.

Дома начался беспорядок. Колька лез то к Елене, то к брату с пискулькой и так себе, желая побаловать; никакие уговоры на него не действовали; от колотушек, получаемых им от брата, он хотя и плакал, но сам потом начинал ругаться и колотить ручонками, что в нем изобличало будущего рабочего человека со всеми наклонностями, врожденными и уже усвоенными от других ребят. Да и что ему, мальчугану, было делать: ему хотелось играть, а ребят одних с ним лет в избе не было. Ганька уже отвык от таких игр: ему хочется бороться, играть в бабки, ходить на голове, как ходят фокусники, которые нынешнего лета казали свою премудрость в заводском саду. Ему было скучно, но идти ему не хотелось, потому что он еще не был здоров; разговаривать с сестрой... но что он будет ей рассказывать и о чем ему говорить с ней; да он не то, что не любил сестру, но относился к ней, как к постороннему человеку, только живущему вместе с ним в одном доме. Он так еще был мало развит, что плохо понимал родственную связь. Он только знал отца, мать и тетку; первых он боялся, потому что они его и били, и кормили, вторая его ласкала и давала гостинцев к праздникам; а сестру его колотили так же, как и его, а мать даже обращалась с ней строже сыновей.

Поэтому он обращался с ней бесцеремонно, как будто считая ее ниже себя.

– Оленка! дай ись!

– Подожди, отец будет.

– Што мне отец, я сам молодец. Дай!

– Тебе говорят, подожди: хлеба-то и так мало.

– Молока дай.

Не дождавшись ответа, Ганька сходил в чулан и принес оттуда ковригу хлеба. Сестра только поглядела и ничего не сказала. Стал приставать к ней Ганька, чтобы она принесла молока, но она долго не несла, а потом, сжалившись, принесла кринку с молоком. Два брата живо опростали кринку. Елена знала, что на просторе они сытнее наедятся, и тоже сама выпила молока.

– Олена, давай в карты! – сказал Ганька.

– В калты, Оленка!

– Отстаньте; ишь, отцу халат чиню. – После почишь. Ишь, какая... Давай, – приставал Гаврила.

И ребята, не дождавшись карт, ушли из избы. Елена осталась одна и стала думать на просторе о всем, что с ней происходило за эти сутки. Совет отца приводил ее к тому заключению, что Илья Назарыч действительно может бросить ее на том основании, что он еще недавно с ней познакомился, да и между ними ничего не было особенного. Что тут особенного, что

он приходил к ней без отца? Ведь к ее подруге ходят же молодые парни; ведь и к матери ее, и к ней, когда, кроме нее, никого нет дома, тоже приходят мужчины за чем-нибудь. Ну, и Илья Назарыч приходил за делом... Но она не могла покривить совестью перед отцом, а высказала ему, как умела, все, что она чувствовала. Зачем же это он сердится и что он тут находит дурного? Он говорит, что его отец мошенник. Ну, а ей-то какое до этого дело? – ведь ей нравится не отец, а сын. Плохо она поняла смысл слов отца, они ей казались какими-то обманчивыми, зложелательными. Но вдруг ей пришло в голову: «А ведь я его мало знаю. Он говорит, видел меня два раза до вечерки, а я не видела. Я на вечерке познакомилась с ним... Да мало ли я там видела парней и в сертуках, и в халатах, и в рубашках; потом он в саду дал мне орешков...» И ей стыдно сделалось; ей даже кот Серко показался каким-то сердитым, хотя он и глядел умильно на ползущего по косяку таракана, которого ему было лень поймать... Еще стыднее и совестнее ей сделалось, когда ей показалось, что ей не нужно бы было сидеть у окна и вчера приглашать его к себе. «Экая я дура в самом-то деле! – думала она. – Ведь он мне совсем чужой, да он и не наш». Елена Гавриловна не очень любила запрудских жителей, на том основании, что она привыкла к простоте, а там, у разных должностных людей,

она видела все новые порядки, которые и осмеивала вместе со старослободскими девицами. «Ну, как же это я не сообразила, што он чужой, да и не наш, и как это он смел сюда зайти?»

Но чем дальше она думала, тем становилось ей грустнее, мысли стали склоняться в пользу Ильи Назарыча; ей стало жалко, что он не знает теперь, что с ней делается, хотелось увидеть его, расспросить, хороший ли он человек. «Как увижу его, непременно спрошу: пьете вы водку? Коли не пьет, пойду за него замуж, не буянит – пойду; будет все такой ласковый – пойду. Нет, я у людей про него расспрошу: может, он это и вправду врет». И она решила как-нибудь исполнить свое намерение. А жить в родительском доме ей ужасно опротивело: одной скучно; хотя за работой она и поет песни, для того, чтобы ей не думалось, и тут все-таки лезут мысли и невесело. Придет мать: это не ладно, то не так – и пошла ворчать. При отце немного получше, но зато тошно смотреть и слушать, как родители грызутся между собой, – и ровно не ссорятся они, да все у них брань. Придут ребята – крик, а от этого Кольки и покою нет, и ничем его не уговоришь... «И везде-то, господи, такая идет жизнь. Разве вот с Илинькой будет покой. Говорят же девушки, что только и радостей у нас, что замуж выходить».

Часу в шестом Елена уже совсем управилась: она

подоила корову, загнала ее и овец куда следует, управилась с курицами, спустила из сарая сена, задала корму животным, приладила что нужно в погребе, хотела было сходить в баню за косоплеткой, но побоялась, посмотрела квашню, вымыла что нужно, поставила в печь свеклу и припасла ужин для семьи: положила на стол завернутую в изгребную скатерть ржаную полковригу, ножик, вилки (вилки Гаврила Иванович получил за железо из кузницы, их у него было всего только две), деревянные ложки. В сенях стояла кринка утреннего молока. Набегавшись до усталости, нахлопотавшись вдоволь, Елена Гавриловна не жаловалась, однако, что она устала и измучилась. Она только, севши за починку отцовского халата, снова сказала: «Ох, завтра рано вставать-то надо! Как бы отец-то да пришел скоренько. Чевовича он там!..»

Глава IX. Артамонов

В избу вошел полицейский служитель Артамонов. Этот человек считался за мастерового, но служил при полиции и заменял в заводе своюю особою и казака, и квартального надзирателя, потому что надзирателей не было в полиции собственно для завода, а он был что-то вроде полицеймейстера. Артамонова все называли полицейским и боялись его, как язву, потому что он из своих интересов обирал рабочих, был хороший мошенник и сыщик, надувал начальство и в то же время угождал ему. Так как он наживал в сутки рубля по три, то и жил довольно хорошо, имея полукаменный дом, пару лошадей и три туго набитые сундука с разными вещами, принадлежащими его семейству.

Он еще вчера приходил к Елене, спрашивал, дома ли ее отец, и потрепал ее по щеке, но она обозвала его варнаком.

– Здорово, Елена Гавриловна! – сказал он, войдя в избу.

– Здравствуй, – Елена его ненавидела, во-первых, потому, что он был скверный человек, во-вторых, его физиономия была отталкивающая. Хорошо она помнила, как в прошлом годе отец по его милости просидел в полиции за то, что не дал ему рубля денег. А

случилось это очень просто: отец вез домой пару бревен, да попался навстречу Артамонову, тот и приказал ему ехать в полицию, потому-де, что Токменцов без дозволения лес рубит.

– Где Токменцов? – спросил он грубо.

– Нету-ка.

– Тебя толком спрашивают: приехал он или нет?

– Ты не кричи, я ведь не отец – не боюсь тебя.

– Што ты!

Елена промолчала.

– Да знаешь ли, што я могу с тобой сделать?

Елена подумала: «Свяжись с дураком, и сама не рада будешь». Артамонов подсел к ней.

– Елена Гавриловна, ты чего на меня-то сердисься, дура ты эдакая? – и он ущипнул ее за ухо.

– Отвяжись, подлец! – и она перешла на другое место.

– Так я подлец?

– Подлец, как есть! только подойди – тресну поленом.

– Экая храбрая ты сделалась! Давно ли такая податливая была!

– Ты, коли за делом пришел, говори дело, а не прималындывай (т. е. не говори вздор).

– Я к тебе по делу пришел: хошь, отец твой будет казаком?

– Вот уж!

– Право: Емельянов захворал, вот и место, стоит только колеса подмазать.

– Спроси его, чего ко мне-то суешься с поганим рылом.

– Ты слушай: это все от тебя зависит.

– Ой-еченьки! какое слово сказал! как это так?

– А так.

И он подошел к ней и вмиг обнял ее. Елена хотела оттолкнуть его, но не могла совладать с дюжинным мужчиной. Артамонов ее целовал. Елена кое-как вырвалась, но он опять схватил ее.

Когда она пришла в чувство, то Артамонова в избе уже не было. Она ничего не понимала, что с ней делалось...

– Варнак! подлец! душегуб! – кричала она. Села она на лавку и давай плакать. Но слезами горю не поможешь.

– Господи! – вскрикнула она и стала на коленки, сильно рыдая. – Господи! – и сколько горя слышалось в ее словах! – Зачем ты попускаешь такие напасти? Пропавшая я теперь. Порази ты его, царица небесная! Порази ты его, Илья пророк, громом и молнией... – Больше она ничего не могла придумать. В таком положении ее застала соседка Федосья Андреевна, пожилая женщина.

– Чтой-то с тобой, девонька?..

Глава X. Положение Елены

...В старой слободе заговорили.

И заговорили об таком предмете различно, как кто смыслил.

Первой вестовщицей была Федосья Андреевна Печенкина, соседка Токменцовых, подруга Онисье Кириловне, по-заводски Пивная Бочка, потому что она варила и продавала старозаводчанам пиво и слыла за бойкую и умную бабу, выручавшую не одного человека из беды, так как она была подруга письмоводительской кухарке.

От нее пошли суды и пересуды в каждом доме старой слободы. Женщины говорили: «Экое наказание. Экая Оленка несчастная!» – и в то же время прибавляли: «Сам плох, так не подаст бог». Девицы охали и боялись пройти мимо токменцовского дома, точно в нем черти сидят. Одним словом, женский пол был против Елены; Елену стали перебирать и нашли в ней много худого, несмотря на то, что до сих пор Елену любили все, как хорошую знакомую. Одни говорили, что Елена гульная девка; Елена и раньше, в отсутствие матери и отца, приглашала мужчин с запрудской стороны, чему ее научила Печенкина, жившая с одним рабочим-старослободчанином и в настоящем

случае прикинувшаяся святошей... Другие говорили, что Елена давно познакомилась с Плотниковым и Артамоновым. Словом, Елену считали за самую скверную девку, и в самом доме Токменцова видели какую-то язву. Мужчины, слушая баб, рассуждали иначе, потому что подобные дела им были не в диковинку... Мужчины, как мужчины, относились к этому делу так себе и на рассуждение баб говорили: «Стоит об чем толковать!..»

– Да ведь после этого ни один парень не возьмет ее замуж! – возражали мужьям жены.

– Все-таки не стоит говорить.

Мужчины об этом происшествии не любили разговаривать еще потому, что они и сами не были целомудренны, когда работали в лесах и в рудниках подолгу, но, надо отдать им честь, они говорили:

– Этому Артамонову нужно хорошую баню задать, потому, зачем он такое дело сделал, зачем Токменцова обидел! Разве можно с нами обращаться, как с собаками?

Так прошел вечер, и молва об Елене начала проходить утром в запрудскую сторону; но до Ильи Назарыча не дошла, потому что у него на старой слободе жила глухая тетка Коропоткина, а писцы главной конторы об этом происшествии еще не знали.

Гаврила Иваныч, возвращаясь домой, услышал эту

новость от одной женщины, – и ему этого было достаточно, чтобы придраться к дочери. Но такое дело было сверх его предположений, потому что он свято уважал законный брак, и как бы он ни был зол на жену, он никогда бы не решился завести шашни. Женщина ему сказала: «Какое с твоей-то Оленкой несчастье стряслось...» А Гаврила Иваныч думал: «Коли Плотников ее целовал, так уж што»... И на другой день он выстегал Елену в бане, несмотря ни на какие резоны дочери и просьбы Федосьи Андреевны Печенкиной.

Федосья Андреевна была добрая женщина. Она стала спрашивать женщин: что делать Елене в подобном случае?

Те ничего не посоветовали ей хорошего; мужчины говорили: «Надо подать прошение исправнику, только вот Елену с Плотниковым видали. А может быть, Плотников и выхлопочет то, что Артамонова в острог посадят, потому что его сестра замужем за исправничьим письмоводителем».

Первым долгом Печенкина отправилась к кухарке письмоводителя, которой она принесла бурак пива, но письмоводителя дома не было: он вместе с исправником уехал на следствие. Кухарке Печенкина не сказала, зачем ей нужно письмоводителя. На другой день после этого она решилась идти с Еленой к управляющему – искать защиты, но удачи и тут не было.

Защиты искать было не от кого Елене. Положение ее было очень скверное: в старой слободе все про нее говорили. Выйдет она из дома – и стыдно ей на дома глядеть, а если она взглянет, то в окне увидит непременно кого-нибудь: мальчик или девочка ползает на окне – ей кажется, что это большой; глядит ли в окно девушка – ей кажется, что она глядит для того, чтобы поглядеть на нее, на Елену...

Прошел день после отъезда отца. Дома страшно. И думает Елена Гавриловна: отчего ей страшно? «Ведь вот и не придет Илья. Я бы посоветовалась с ним. Я бы ему много сказала...» А что бы она сказала, она и в толк не возьмет. И хочется ей, чтобы пришел Илья Назарыч, и опять думается ей: грешно!

«Подлый этот народ – запрудские!» – думает Елена, но Илья Назарыч ей милее всех.

«Убегу я отсюда... Здесь нельзя мне жить: все меня едят». Но опять ей думается: «Нет уж! Такие случаи не бывали в заводе», – и она называла себя дурой за то, что ей пришла в голову такая мысль. Но эта мысль с каждым часом мучила ее.

Днем еще не так она мучилась: она работала; вечером она была свободна, а в это время соседи сидели на улице и, наслаждаясь чистым воздухом, толковали о разных разностях. Елене хочется выйти на улицу; Елену зовут на улицу девушки, а как она выйдет, когда

про нее говорят всякую всячину?

Слушает, слушает их Елена, да услышит свое имя и скажет: «А виновата ли я-то?.. Сами-то вы как живете?..»

Глава XI. Елена ходит по грибы и по малину

На четвертый день после отъезда Гаврилы Иваныча на рудник пришла к Елене тетка ее, Степанида Ивановна Шарабошина.

– Ну, что, Елена, говорила тебе Матрена Егоровна о чем-нибудь?

– Она, тетушка, говорила, не поедешь ли ты на покос.

– Как не ехать? завтра чем свет ехать надо. Ну, а еще-то ничего не говорила?

– Нет, ничего.

– Ой, врешь!

– Ей-богу, тетушка, ничего.

– А я тебе скажу, што она хочет Макара женить.

– Так мне-то што?

– А она больно на тебя зарится, да и Макар-то тоже.

– Вот уж, пьяница!

– Кто нынче не пьет, Елена! На што мы, бабы, и то пьем. А Макар – парень работающий. Смотри, он всю семью кормит.

– Так ты не сосватала ли меня?

– А хоть бы и так. Уж я и брату говорила, – согласье

дал.

– Ой, тетушка! я ни за што не пойду за Макара за-
муж.

– Это отчего так? Али ты захотела потаскушей сде-
латься, а?

Елена заплакала.

– Смотри, девка, не серди меня! Ты знай, что, кроме
меня, никто тебе добра не пожелает.

– Вот уж пожелала: за экова пьяницу сватает!

– Давно ли ты такая разборчивая сделалась? Да ты
то рассуди, безрогая ты скотина, што за тебя после
экова греха никто не станет свататься. Право слово...
Ну, кто тебя возьмет?

– И не надо.

– Мало тебя отец-то полысал.

– И ты на меня! Хоть бы ты-то меня не грызла...

Поди-ко, легко мне, экое счастье!

Степанида Ивановна поворчала немного и послала
Елену на рынок за солодом.

Идти на рынок приходилось мимо главной конторы.
Только что она поравнялась с конторой, как из нее вы-
ходит Илья Назарыч. Сердце дрогнуло у Елены. Она
пошла скорее, смотря в другую сторону.

– Елена Гавриловна! – окликнул ее Илья Назарыч.
Елена идет своим чередом, не оглядываясь.

– Елена Гавриловна!

– Чего вам? – оглянувшись, сказала Елена и стала. Плотников подошел к ней, поклонился и подал ей руку. Она молча спрятала свою руку.

– Что с вами сделалось? – и он взял ее правую руку, сжал крепко.

– Ничего... Пустите!

– Позвольте, я вас провожу!

– Ой! што вы!

– А батька дома?

– Уехал на рудник, – и она, вздохнувши, задумалась.

– Вот што: пойдете завтра по грибы.

– С вами – это? – Она пошла, рядом с ней шел и Плотников.

– Что же такое! Я не съем; вам веселее будет, поговорим...

– Ой, как можно!

– Да ведь ходят же по грибы с чужими людьми! Мы не заблудимся: я все места знаю.

– Нельзя, Илья Назарыч: тетка на покос зовет.

– На покос успеете: завтра суббота, завтра сходим, потом в воскресенье сходим.

– Не знаю.

Елена задумалась. Ей хотелось сказать Илье Назарычу, что ее хотят выдать замуж за Чуркина, да она побоялась сказать.

– Так придете?

– Ой, не говорите!

Шли молча до рынка. Там Елена купила солоду, а Плотников поджидал ее у рыночных весов.

– До свиданья, Елена Гавриловна! – сказал Плотников, когда Елена пошла домой.

– Прощайте!

– Так придете завтра?

– Куда опять?

– Да к мостику.

– Да как я приду-то? тетка прогонит на покос.

– Ну, я таки буду дожидаться до девяти часов.

– А почему я эти часы-то знаю!

Елена Гавриловна шла уже по плотине. И обидно ей сделалось, что она ничего хорошего не поговорила с Ильей Назарычем, не посоветовалась с ним. Что есть, и говорить она не умеет, а он, вишь ты, как говорит, как по-писаному. Она по грибы очень любила ходить, только в нынешнее лето очень немногие ходили по грибы, потому, во-первых, что грибов еще мало, а во-вторых, погода стояла ненастная. Теперь погода стояла хорошая, так опять черт сунул тетку на покос ехать! Все-таки любовь брала свое: ей сильно хотелось идти по грибы с ним, а не с кем-нибудь другим, и ему высказать все, что с ней сделалось, спросить у него совета... «Господи, помоги ты мне!.. Матушка-те-

тушка, отпусти ты меня по грибы завтра, а на покос я в воскресенье поеду с тобой... Матушка-тетушка, как я из дома уйду? пусть Ганька уж едет, а то отец пришлет за хлебом, а нас и нету-ка дома-то». Так думая, она пришла домой, а оттуда пошла к Степаниде Ивановне.

– Смотри, Елена, завтра раньше вставай. К обеду надо на покосе быть.

– Тетушка!

– Чево еще? Елена замялась.

– Возьми ты Ганьку, а то неровно отец с рудника за хлебом пошлет.

– Не дури. Поди, спи.

Елена ушла и думала: какую бы ей такую штуку сделать, чтобы завтра не ехать на покос. Но ничего не выдумала, и, засыпая, она думала: «Вот какая я несчастная! Ни в чем-то мне нет счастья... Ох, уж эти родные!..» Однако утром она стала выдумывать. «Вот я возьму корову запру в огород, да и скажу – потерялась корова. Но ведь корова, пожалуй, всю капусту съест; выгнать ее в поле – придется гнать мимо теткиного дому». Вдруг ей пришла мысль загнать ее в погреб. «А если тетка вздумает за чем-нибудь идти в погреб? Скажу – ключ потеряла». Итак, подоивши корову и взявши оттуда литовку, две кринки молока, две ковриги хлеба, закрывши яму крышкой, убравши

хрупкие вещи, она загнала туда корову и заперла погреб. Только что она успела это сделать, как к воротам подъехала телега, запряженная в серую лошадь. В телеге сидела Степанида Ивановна с сыном Андреем. В это время корова замычала в погребе.

«Ах ты, проклятухая!» – подумала Елена и выбежала на улицу. В телеге лежали две литовки, в которые были вдернуты по двухаршинному черенку (палка).

– Тетушка, корова потерялась!

– Што ты врешь!

– Ей-богу. Искать побежала. Вчера, как от тебя пришла, подоила, заперла в стойке, а сегодня нетука, и ворота, что есть, растворены.

– Оказия! Да ты искала ли?

– Везде высмотрела: и в огороде, и у соседей. На поле хочу сбегать...

– Ну, чево ино ждатель-то? – крикнул Андрей матери.

– Молчи! Подожди ино, я парней разбужу.

И Степанида Ивановна слезла с телеги, вошла во двор, поглядела кругом, заглянула в огород – коровы нет и пошла в избу будить ребят.

– Я, тетушка, совсем собралась, и литовку с вечера приготовила. Думаю, стряпать нечего, подою корову, соберусь – и готова. Эдакая напасть! Надо бы скорее искать корову-то.

Николай и Гаврила кое-как расклепались, нехотя оделись кое-как и почти полусонные сели в телегу. Когда Елена провожала тетку, корова опять замычала.

– Штой-то ровно ваша коровенка-то? – заметила Степанида Ивановна и стала вслушиваться, но корова перестала мычать, и скоро Степанида Ивановна села в телегу. Тронулись.

– Так ты смотри, Елена, завтра приходи непременно.

– Ладно, тетушка.

«Слава те, господи! Экая я счастливая», – думала Елена, как только поехала Степанида Ивановна с Андреем, Гаврилой и Николаем. Был еще шестой час утра.

Елена очень трусила того, чтобы тетка ее по какому-нибудь случаю не воротилась назад, и поэтому медлила выпускать корову из засады. Ей не было дела до того, что корове холодно в погребе, она только об том думала, как бы ей скорей уйти к мостику, а как только она уйдет туда, так тогда ее хоть целый день ищи, если только не догадаются, куда она ушла. О том, что тетка может раздумать ехать на покос и от Чуркиной воротится назад, она теперь не думала. Раза четыре она выходила за ворота и смотрела, не едет ли тетка домой, в пятый раз сходила в переулок, посмотрела на плотину, и, удостоверившись, что тет-

ка уехала, она выпустила мычащую корову из погреба, загнала ее в стайку и дала ей две порции корму. Потом, мучимая страхом, что тетка воротится, она надела на босые ноги ботинки, на голову платок и выскочила на улицу. Но она забыла набируху и воротилась назад. Положила она в набируху ножик, два ломтя ржаного хлеба, на которые посыпала соли, заперла сени на замок и пошла, крадучись, боясь, чтобы ее не встретили соседки. Но избежать встречи было трудно: ей попадались мужчины, шедшие из фабрик; они ничего не говорили с ней. Попалась ей старуха, погоняющая свою корову, и спросила ее:

- Куда, девоха, покатила?
- Корову пошла искать.
- А набируха-то пошто у те?
- А может, гриб найду.

Вот прошла она плотину, завернула к фабрикам. Шла она бойко, сначала все оглядывалась, потом вздохнула свободнее и пошла тише, зная, что до мостика всего полверсты осталось. Попадались ей рабочие, конные и пешие, возвращавшиеся домой из Петровского рудника. Один из них был знакомый Елене.

- Куда ты?
- По грузди.
- Гоже.

– Отца видел?

– Нет, не видел.

Елена струсила, но все-таки шла краем леса. Вот она у мостика, перекинутого через лог, где течет из лесу ручеек. Тут она села. Сердце билось как-то приятно: вот он придет... Ах, как долго! Не ушел ли он?.. Долго еще просидела Елена, скучно и страшно ей сделалось. «И зачем это я, дура набитая, пошла?.. Если тетка воротится да корову увидит, да меня не застанет?» Но она не шла назад, а ждала Плотникова. Вот и он идет в коричневом халате, полы которого заткнуты за ремень, которым он опоясался, в холщовых штанах, желтой ситцевой рубаше, в сапогах, с папироской во рту. В левой руке он держит набируху.

«Спрячусь я!» – вздумала вдруг Елена и спряталась в кусты; смешно ей сделалось.

Плотников сел на мостик.

– А-у! – услышал Плотников тоненький голосок, похожий на кошачий визг. Он вздрогнул, поглядел кругом и стал смотреть на дорогу по направлению к заводу. Елене обидно даже стало, что Плотников не ищет ее.

– Илья Назарыч! – вскричала она своим голосом. Сердце забилося сильнее, она улыбалась.

Плотников встал, посмотрел в ту сторону, откуда послышалось восклицание, и увидел сарафан.

– Елена! это ты?

Елена вышла и захохотала.

– Обманула, обманула! Ловите!! – и она убежала в лес. Плотников тоже пошел в лес. Слышно было, как хрустели сухие ветки, валежник. Плотников крикнул:

– Елена, уу!

– А-уу!!

– Иди сюда-у!

– А-уу! – Эти восклицания далеко раскатывались по лесу и гудели где-то далеко.

Плотников шел на отклик Елены, которая была уже далеко через лог.

«Что за глупая девчонка! – думал он. – Ну, зачем она прячется?» – и старался догнать ее.

Илья Назарыч за это время много передумал о своей любви и о своем желании жениться на Елене. Он хорошо понимал, что Елена его любит, а это он заключал из обращения ее с ним в ее избе. Когда он проснулся на другой день после сцены в слободе и на плотине, ему вдруг пришла в голову мысль, что он уже слишком далеко зашел с своими Похождениями. Он очень много видал женщин и девиц в заводе и в городе, сравнивал тех и других и невольно задавал себе вопросы: отчего красивые запрудские девицы не нравятся ему? ведь есть и красивее Елены; но его от них как будто тошнило. Ведь есть и красивые и при том отцы их богатые, стоит только раз завлечь их – и

жених; но ему не нравилось, что в них такой простоты не было, как у Елены. Перебрал он все свои мысли, все воспоминания, все слова, говоренные с нею, и пришел к тому заключению, что Елена ему лучше нравится, чем другие девицы; но он что-то находил отталкивающее в ее натуре, какой-то тяжелый туман ложился в это время на его мысли; он старался гнать прочь этот туман и только думал: она девушка славная, я одну ее люблю, – и при этом он потягивался, кровь билась сильнее, в голове чувствовался жар...

Когда он увидал в лесу Елену, на него напала робость. Он бежал за ней, ему хотелось обнимать и целовать ее целый час, целый день; утром он думал, что ему легче достанется Елена, он смелее приступит к ней, а теперь его пробирала дрожь, он сделался не то скучный, не то злой.

Что чувствовала Елена? Она обрадовалась, что Илья Назарыч пришел, но ей вдруг стыдно сделалось, что она одна в лесу с мужчиной, и она убежала в лес, а поди, ищи ее в лесу, где ей чуть ли не каждый пень знаком. Сперва она чувствовала, что она бог знает в каком благодатном месте находится: дышалось свободнее, петь хотелось, плясать хотелось, каждое дерево шелестило своими мохнатыми ветвями как-то любезно, пахло хорошо, муравьи ее забавляли; но потом ей вдруг сделалось грустно. «Зачем я убежала

от него?.. Нет, нет... Пусть побегает, порыщет!.. Он в халате, пусть издерет его... Вот смехота-то будет...» Потом ей хотелось высказаться ему, но что она ему скажет?

С час уже прошло так. Они все удалялись дальше в лес;

Илья Назарыч все был позади. Наконец, она вышла на полянку, вокруг которой рос высокий сосновый и осиновый лес, солнце приветливо смотрело в это благодатное место, грело. Села Елена около лесу, спиной к солнцу, положила на землю около себя набируху, в которой было уже много грибов. Вздохнула она тяжело, задумалась, глядя в угол – в лес, стала считать деревья, задавило что-то в груди, и вдруг покатались из глаз слезы; пошли и пошли... Хочет Елена унять слезы, а они пуще и пуще идут. «Господи! – шепчет она и смотрит в небо: – го-о-споди!.. Какая я несчастная. Пожалей ты меня, пожалей тятеньку и маменьку...» Наконец, она вздрогнула, утерла ладонью мокрое лицо, стало легче... Вдруг она обернулась налево – стоит Плотников и смотрит на нее. Вскрикнула Елена от испуга, вскочила, схватила набируху и убежала в лес.

– Елена! Елена молчит.

– Елена-у!

– Ну-у!

«Господи, какая я дура... При нем-то разнюни-

лась!.. Чтой-то это со мной?.. Дурак! Подмечать, ишь ты...»

Она ушла очень далеко от Плотникова, стало ей весело, и она запела, сначала едва слышно, потом громче и громче заводскую песню:

Калинушка да с малинушкой
Раным-рано расцвела.
На ту пору-времечко
Мать дочь родила (два раза).
Споила, вскормила, -
Замуж отдала.
Я на свою маменьку
Ой да осердилася;
Я ко своей маменьке
Три года не приду;
На четвертый годочек
Пташечкой прилечу (два раза).
Сяду во зелен сад,
Тоскою-кручиною
Весь сад осушу,
Слезами горючими
Речку пропущу.
Матушка по сеничкам похаживает,
Невестушек-лапушек побуживает:
Станьте вы, невестушки,
Лапушки мои!
Што у нас за пташечка

По саду поет?
Где же эта пташечка
Причеты берет?
Первый братец сказал:
Пойду посмотрю.
Другой братец сказал:
Пойду застрелю.
Третий братец сказал:
Пойду приведу (два раза).
За стол посажу.
Стану ее нежить,
Ласкать, целовать:
Это наше дитяtko
С чужой стороны.

Эту песню она пела с таким чувством, что ничего не замечала кругом, а шла тихо, бессознательно, куда глаза глядят, кружась в лесу.

Илья Назарыч бесился. Он не понимал, отчего Елена плачет, и, как он увидел ее, она убежала в лес, а теперь поет. «Уж догоню же я ее».

– Елена-у!! – крикнул он громко.

– Илька-у!! ау-у!! – откликнулась Елена.

Илья Назарыч нагнал Елену. Она сидела около тропинки и ела хлеб. Набируха ее была полна с верхом, у Ильи Назарыча и половины не было грибов.

– Ой-ой! Как вы халат-то отполысали! – Елена захохотала. Халат Ильи Назарыча действительно был

продран во многих местах. Илья Назарыч поставил набируху на землю, рядом с набирухой Елены.

– О-о! сколько грибов-то! Какой вы ротозей! По воронам у вас глаза-то смотрели, што ли?

– Так что-то. Счастья нет... – И он сел рядом с ней.

– Хлеба хотите?

– У меня свой. – И Илья Назарыч стал есть свой кусок ржаного хлеба. Сидели молча минуты две.

– А я какую славную кучу нашла груздей... Вот этих самых. Восемь, никак, срезала.

– Я рыжиков много нашел.

– Ну, уж!.. А у меня какие славные рыжики! Глядите. – И она сняла четыре больших белых гриба; в набирухе лежал пласт очень мелких рыжиков.

– Ты зачем давеча плакала? – спросил Елену, немного погодя, Плотников.

– Когда?

– На полянке.

– Уйди! Когда я плакала! я так... Много будешь знать, состаришься...

Вдруг Илья Назарыч обнял Елену и поцеловал. Елена вырвалась, вскочила и закричала:

– Ну, чтой-то, в самом деле, за страм! – И она, схватив палку, прибавила, чуть не плача:

– Подойди только, лешак экой, как я те учну хлестать! Разве можно так-то?

– Ты любишь меня?

– Вот уж! стоит экова фармазона любить... – И она улыбнулась.

Елена встала, взяла набируху и пошла.

– Посидим.

– Домой надо.

– Да ведь дома никого нет.

– Чего я шары-то стану продавать! – И она пошла весело и запела: «Все-то ноченьки...»

– Елена! Я те подарок принес.

Елена остановилась, улыбнулась и сказала:

– Врешь! Ну, давай.

– А поцалуешь?

– Ой, нет! – И она отвернула лицо.

– Возьми.

Елена подошла к Илье Назарычу, он дал ей горсть красных пряников и четыре, конфетки.

– Покорно благодарю, – сказала стыдливо Елена.

Пошли. Елена шла впереди, а Плотников позади ее.

Илья Назарыч шел злой. Ему вдруг досадно сделалось, что Елена не поцеловала его за подарок, как будто играет им. Но ему все еще хотелось достичь своей цели, иначе что же ему за польза была идти по грибы сегодня, тогда как сегодня у него была работа в конторе.

– Што же вы назади-то идете, как нищий! – сказала вдруг Елена, обернувшись к Илье Назарычу.

– И здесь ладно.

– Ладно! Я не люблю, кто за мной примечает.

– Я тоже не люблю, – сказал ядовито Илья Назарыч. Елена остановилась. Илья Назарыч пошел и не глядел на нее. Когда он поравнялся с ней, она ударила его по плечу рукой и с хохотом убежала в лес. Илья Назарыч немного повеселел и пошел было за ней в лес.

– Догони! Ну-ко? Кто скорей бегаёт? – крикнула Елена, заливаясь хохотом в лесу.

Илья Назарыч побежал за ней; долго он бежал, и, наконец, нагнавши, схватил ее за платье.

– Вот уж теперь не отпущу.

– Отстань!.. Илька!.. – кричала Елена, но не так громко. Лицо ее сильно покраснело, она тяжело вздыхала. Илья Назарыч обнимал Елену, она отбивалась и вырывалась. Половина грибов у нее из набирухи высыпалась.

– Разве так играют! – сказала чуть не в слезах Елена, обидевшись баловством Плотникова.

– Елена! если ты любишь меня, подойди, поцалуй.

– Как же! – и Елена пошла.

Раза четыре Елена заставляла Плотникова идти вперед, бегала от него, раза четыре он нагонял ее и

обнимал, но Елена только раз дозволила ему поцеловать себя, – и то тогда, когда не могла справиться с ним. Так они дошли до мостика.

– Пойдем завтра за малиной? – сказала вдруг у мостика Елена Плотникову.

– Приду, приду.

Илья Назарыч пошел вперед, а Елена далеко отстала от него. В слободе ее четыре женщины спрашивали: а што ты, Олена, на покос не пошла? По грибы так пошла...

Рано Елена легла спать, долго она думала о нынешнем дне, сердце билось радостно, лицо горело. «Все я буду с ним ходить... Ишь, целоваться просит! как же: на вечерку бы, – а то... А поцалую же я его!...» И она крепко обняла подушку... Так и заснула.

На другой день Елена уже не много дичилась Ильи Назарыча. Когда оба они набрали много малины, находились вдоволь, напелись и надумались вволю, то, сойдясь вместе, сели рядом и стали закусывать.

– Чтой-то ты прежде такой ласковой да шут был, а теперь все молчишь?

– Невесело, Елена Гавриловна.

– Будь ты проклятая хвастуша! Кто те по затылку-то колотит, што ли?

– Елена! – и он обнял Елену.

– Слышь, Илька! в последний раз говорю: ей-богу,

никогда не буду с тобой ходить.

– И не ходи, черт с тобой! – Илья Назарыч закурил папироску.

Оба замолчали.

– Как бы нам, Елена, видеться с тобой чаще? – спросил вдруг Илья Назарыч.

– А по малину будем ходить.

– А зимой?

– Вечорки будут.

– А если тебя замуж выдадут? Елена задумалась.

– Ну уж, не выдадут. Ни за кого не пойду.

– А за меня пойдешь?

– Што дашь?

Елена встала, пошла в малинник, за ней шел и Плотников.

«Экая я дура, – думала она. – Зачем это я столько наболтала?» Малины было очень много, она, стоя на коленях, теребила ее с веток и бросала горстями в набируху. Лицо ее словно жгло что-то, голова как будто горела...

– Иля-у! – крикнула она во все горло, потому что Плотников давно не кликал ее.

– Здесь, – сказал негромко Плотников. Он был позади ее, в двух шагах. Она вздрогнула, оглянулась, он тоже оглянулся. Он и она улыбались, но видно было, что и Плотников был, как говорится, не в своей тарелке.

ке, т. е. машинально рвал малину. Вдруг Елена подвинулась к нему на коленях и, подавая крупную белую ягоду, сказала:

– Надо?

– Давай.

– Нет, не хошь!

Плотников хотел схватить ее за руку, но она не давала ее. Наконец он схватил ее руку, сжал крепко; Елена взвизгнула, наклонилась к нему, он ее обнял... Тут она вдруг подняла лицо, Илья Назарыч крепко начал целовать ее, и Елена, обняв его шею левой рукой, поцеловала его и отскочила.

– Молчи! Иля!.. никому не говори, – и она опять стала собирать малину. Стыдно ей стало, но и весело как-то, так весело, как никогда. Теперь она не чувствовала в себе никакого горя. Опять сели, стали целоваться без принуждений. И долго они целовались; Елена чувствовала себя самой счастливою женщиной; теперь только она поняла, что эти поцелуи далеко лучше, чем на вечорках.

– Ты, Иля, женишься на мне? – спросила она вдруг Илью Назарыча, обнимая его, смотря ему в глаза.

– Женюсь, Леночка.

– А бить не будешь?

– Нет.

И опять они целовались долго-долго. Домой Елена

Гавриловна пришла веселая и долго распевала одну песню: «Што поеду ли я, молодец, в Китай-город...» Но невесело было Илье Назарычу: когда он пришел домой, отец пьяный бил своего товарища, мастера Китаева. Стал Илья Назарыч унимать его, он кинулся на него и так побил, что Илья Назарыч встал с полу с окровавленным носом и большими синяками на лице и на лбу.

Глава XII. Петровский рудник

В это время уже половина осиновцев обеих половин кончали страду. Надо заметить, что осиновцы хотя и назывались разными названиями по работам, но все они называли себя мастеравыми. Большая же часть их называлась непременно работниками. Эти непременные работники делились на два разряда: конных и пеших; конные возили дрова, уголь, руду к фабрикам и справляли другие работы; пешие работали на фабрике, в рудниках и у рудников. Конным назначалось работать 200 дней в году, пешим 125; с первого мая по первое ноября им полагалось работать половину месяца на заводе, половину на себя. Но это были только правила, на деле выходило напротив в Осиновском заводе: все зависело от управляющего, прикащиков и надзирателей. Так что Токменцов и сотни его товарищей пользовались свободой много-много месяц в году, и против этого они ничего не могли сделать, потому что прогульный день им ставился в вину, за которую их наказывали. Кроме этого, их еще стесняли и на провианте: например, Токменцову полагалось провианта четыре пуда в месяц, а давали три и два пуда; на Гаврилу, до пятнадцатилетнего возраста, – полтора пуда, а давали пуд или тридцать

фунтов. И против этого осиновцы не могли ничего говорить, потому что жаловаться некому, да и за жалобу, если бы она была сделана, им пришлось бы заплатить своей шкурой, и они все-таки не получили бы того, что бы им следовало. Поэтому положение рабочего народа было не легкое. Не все, конечно, были в таком положении. Писаря, называвшиеся тоже непременно рабочими, служившие в конторе и заправлявшие делами, кроме членов конторы (которые служили по найму за хорошую плату и были больше отставные чиновники), — те, называясь мастеровыми, получали наравне с рабочими провиант. Итак, в Осиновском заводе, по-настоящему, было два класса людей: непременные работники и мастеровые, и оба назывались нижними горными чинами. Мастеровые, собственно говоря, означали мастера, т. е. не так, как понимали рабочие, что мастеровой — значит работник. Мастеровые были нарядчики, прикащики и другие должностные лица на рудниках и в фабриках, — люди, с детства не знавшие тяжелой работы. Эти люди занимались торговлей в заводе, из них были плотники, столяры, портные (впрочем, портным и сапожным ремеслом в заводе больше занимались отставные солдаты и приезжие мещане, так же как и в гостинице было два купца не из осиновцев), были кузнецы, медники и тому подобные люди, и они или поставля-

ли вместо себя рабочих, или платили за это деньги, а иные с детства пользовались особенною милостью. Мастеровые жили, конечно, гораздо лучше непременных работников, имели лучшие дома, кой-какие деньги и даже важничали над рабочими, считая себя выше их. Поэтому мастеровые составляли в заводе свой отдельный кружок, в который трудно попасть рабочему. Впрочем, мастеровые не из начальников, люди кое-как перебивающиеся своим трудом, с рабочими жили дружно, роднились, но все-таки в обращении их была какая-то натянутость. Так как мастеровые жили дома, то рабочие часто просили их о чем-нибудь, например, поработать в фабрике или у рудников за деньги, привезти дров, сена с покосу – и преимущественно помочь косить траву. Рабочие же, с своей стороны, сами услуживали мастеровым вдвойне.

У каждого семейного осинодца, принадлежавшего Граблеву или приписанного к нему, был покос, переходивший из рода в род. Вновь, новому поколению, редко давали покос; поэтому покосы обыкновенно делились между детьми, но трава косилась сообща, и воровства почти не было, потому что за воровство товарищи расправлялись своим судом и били ужасно. Покосы большею частью находились в нерасчищенном лесу. Дрова тоже отпускались по билетам из особых делянок, и ни один рабочий не рубил леса с сво-

ей земли, а старался срубить бревешко или нарубить дров в господской даче, задобривая при этом лесных сторожей.

Прошло уже преображение; половина травы на покосах скошена и сложена в зароды, половина еще не скошена; одна часть осиновцев убралась на покосы, другая работает на завод, дома остались только старухи, старики да маленькие дети.

Петровский рудник находится в 20 верстах от Осиновского завода, в пятнадцати верстах от того мостика, где встречались Елена с Плотниковым; покос же Токменцова находился в двенадцати верстах от завода; дорога к нему идет сначала небольшой просекой, а потом узенькой дорожкой, лесом, мимо старого закрытого рудника Михайловского. Когда Токменцов выехал за завод, он опомнился.

«Совсем они меня сбили с толку. А не поеду же я на рудник!» – И он заворотил на покос, хотя у него и не было литовки с собой. Навстречу ему попадались пешие запрудчане, с литовками и без литовок.

– На покос? – спрашивали его первые попавшиеся.

– На покос. Одолжи, Савелии Игнатьич, литовки.

– Да мне завтра самому надо косить.

– Завтра отдам. А не видали ли Петрушку Фомина?

– Он там, на покосе.

Получивши литовку, Гаврила Иваныч поехал на по-

кос. Покос его находился в лесу на болотистом месте, трава была большая. В таких же лесах с небольшими полянками были покосы и других рабочих, которые уже клали в копны, а потом таскали граблями в зароды. Народу кругом было человек до тридцати – мужчин, женщин и ребят, все они работали тут уже двое суток, с раннего утра до позднего вечера. Работа кипела. Увидал Гаврила Иваныч Петра Павлыча Фомина, мастерового с запрудской стороны, занимающегося кузнечным ремеслом, давнишнего своего приятеля, с которым он каждый год косил траву. Он работал с молодой женой вдвоем.

– Давно не видать где-то! – сказал Фомин, увидав Гаврилу Иваныча, въехавшего на чужую полянку.

– Да вот надо бы косить, да не знаю... Не поможешь ли, Петр Павлыч?

– Не знаю... Домой надо; двое суток валандаюсь.

– А где у те Анисья-то? – спросила жена Фомина.

– В город уехала штаны продавать. Фомины захотали.

– Помоги, Петр Павлыч!

– Ну, не то ладно. Давай-ка догребай с того конца. Снял Гаврила Иваныч зипун, закурил трубку и принялся за работу. Дело было привычное, грабли из рук не валились, и он живо греб сено, составляя из него кучу, стараясь скорее помочь товарищу, чтобы тот по-

мог ему, а то если пойдет дождь, завтра Фомин уедет домой.

Стало темно. Половина рабочих с покосу ушли домой, а половина рабочих собрались в кучу, разложили огонь на полянке, уселись вокруг огня и стали закусывать: у иных было в берестяных бураках сусло, у одной женщины был пирог с морковью, у другой пирог с свежими грибами, а Фомина дала мужу и Гавриле по куску пирога с свежим зеленым луком; потом ели малину. Высоко поднимавшееся пламя с серым густым дымом хорошо освещало смуглые лица сидящих в различных позах людей, в разноцветных одеждах, зевающих, едящих и разговаривающих. Разговоры шли дружные, брани не было, но говорили недолго: скоро улеглись, кто у огня, кто в телеге, и скоро заснули крепким сном, только одни лошади, привязанные на длинные веревки к деревьям или распущенные без привязи, с боталом на шее и с путами на ногах, тихо бродили по скошенной траве и щипали ее. Утром, часа в четыре, встали все один за другим и принялись снова за работу.

Около вечера приехала и Степанида Ивановна с Чуркиной и ребятами. Она удивилась, что застала брата на покосе, а тот удивился, что нет Елены. Но скоро успокоился. Началась опять работа и продолжалась трое суток. Гаврила Иваныч и Ганька с Шара-

бошиными и Чуркиными, скосив траву на своем покосе в сутки, разметали ее на ближайшей лужайке, другие и третьи сутки помогали Шарабошиной и Чуркиной, а в четвертые склали свое просохшее сено в зарод, заключавший в себе возов восемь сена. Угощения по окончании страды никакого не было; а каждый говорил: приходи же в успенье-то.

Поехал Гаврила Иваныч домой веселый; поехали веселые Чуркины, Фомины и Шарабошины. Но о женитьбе сына Чуркиной, как во время страды, так и теперь не было и слова. Не доезжая до мостика верст пять, из перекрестной узенькой дороги выехал верхом на лошади десятник Оплатов.

– Токменцов! на работу в рудник.

– Ты вишь, я с покосу еду.

– Мое это дело-то, што ли? Ишь, назначение вышло сто сорок восемь человек сегодня нагнать на рудник.

– Што так: ведь семьдесят восемь было.

– Приказ такой, сказано! Малолетков ведено двенадцать да подростков тридцать.

– Оказия!

– Ишь, от управляющего, болтают, указ такой в контору вышел, чтоб к успеньеву дню было непременно добыто из нашева рудника две тысячи пудов руды, а время-то сколь? – всего четыре дни; а сам знаешь, сколько шахтов-то: всего четыре. Ну, разумеется, кон-

тора с прикащиком и давай умом мутить.

Токменцов стал было просить десятника освободить его от работы, просили и все его товарищи, но десятник только говорил: «Мне уж за Егора Шилохвостова была баня, другую, што ли? – не тебе чета, стар уж стал».

Делать нечего, надо было идти на рудник с Ганькой, который назывался еще малолетком.

– Ты, Степанида, лошадь-то уведи домой да скажи Олене, чтобы она послезавтрее принесла мне хлеба, а то до успенья ведь не буду домой. Да смотри, чтобы она тово...

И Гаврила Иваныч пошел с Гаврилой на рудник по тропинке, по обеим сторонам которой рос березник; десятник поехал на покосы собирать народ.

Сильно не хотелось Гавриле Иванычу идти на Петровский рудник, так не хотелось, что он готов был бог знает какие наказания принять, только бы не идти; готов был убежать. Он прежде не чувствовал такой особенной боязни, когда ходил на этот рудник; он даже согласился бы идти на Ильинский рудник, только бы не сюда. Этот рудник был самый тяжелый для рабочих – впрочем, где придется работать – в горе или на ровном месте; здесь часто убиваются рабочие; отсюда Они весной уплывают на барках вниз и бегают. Но Гаврила Иваныч шел, шел за ним и маленький Гаври-

ла, плача и ругаясь.

Лес стал реже и реже – и вдруг его как будто отрезали, как ковригу хлеба: налево, в пространстве на две версты, глазам представляются небольшие насыпи, имеющие вид невысоких холмов с каменисто-серую почвую, обвалы; ямы без воды и полные воды, какие-то не то колодцы, не то провалы с прогнилыми срубками, досками, – и все это так перемешано, как будто здесь было или землетрясение или, для чего-то неизвестно, здесь рыли и копали землю. Вон недалеко семь человек рабочих выползли из-за оврага с топорами, спустились к колодцу и давай добывать лежащее около него толстое бревно. Это прежний рудник. Около дороги, по которой шел Гаврила Иваныч, вся земля изрыта, и земля не обваливается пока, вероятно, потому, что ее там держит что-нибудь, но зато посмотрите направо: там на целую версту в окружности земля как будто рухнула, местность приняла вид лодки, в середине которой стоит не колыхнется заплесневелая вода и берега которой расщепились во многих местах, и в этих щелях торчат то доски, то обрубки деревьев. Вокруг этого лога растут кустарники пихты. Земля здесь рухнула и засыпала шурфы и шахты, так что их теперь и следов нет.

За этим местом опять идет небольшой редкий лес, около дороги и в лесу лежат бревна, горбины, в лесу в

разных местах пилят бревна. Наконец, и Петровский рудник. На окружности десяти верст земля то изрыта, то представляет собою гряды с землею, наваленною в большие кучи, – насыпи с глинистою и песчанистою землей. Между этими насыпями в некоторых местах положены доски, по которым ползают мальчишки и мужчины с тачками, наполненными землей, смешанной с рудой. Идут они и заворачивают в разные стороны, и вываливают эту руду к большой, высокой квадратной насыпи, имеющей вид горы, огороженной слегка заплотом из досок. Это рудный двор. Около этой горы стоят весы и восемь телег, запряженные лошадьми. Рабочие накладывают руду на весы, потом кладут руду в телеги. Токменцов выкурил около них трубку, потолковал и пошел. Дальше опять мальчишки таскают куда-то землю направо и скрываются за насыпями. Но не все это пространство без леса было завалено землей и изрыто. Было много ровных мест, гладких, на которых росла трава и щипали траву лошади; но зато на этих местах кое-где были вбиты столбы с зарубинами и крестиками, означаящими, что здесь под землей кончается шурф, или предполагается быть прорытой шахта. В некоторых местах рабочие работали: что-то рубили, тесали и везли на лошадях бревна из лесу. В одном месте стоит большое деревянное строение – это изба для рабочих. Рабочих бы-

ло здесь много, все они что-нибудь да делали: то таскали горбины, то везли бревна к пильщикам; которые пилили бревна у дороги, то везли землю и руду. И все они были в поту, черные, как трубочисты, заваленные в грязи. Впереди большая гора, обросшая лесом. Около этой горы тоже навалены большие кучи, видятся какие-то шесты, дым. Еще далее, ближе к горе, версты на две от нее направо, недалеко от дороги, между двумя насыпями, вбиты в землю четыре сваи с крышей. Около них суетится десять человек рабочих. Половина из них вертят ручки от двух валков, вделанных поперек свай, на один валок наворачивается веревка, с другого болвана веревка спускается в яму, похожую на колодец, с срубам и имеющую пространства два квадратных аршина, – это шахта, а сваю с болваном называют воротом, рабочих воротовыми. Между валками от перекладины на потолке идет в шахту веревка; по этой веревке спустились вниз двое. Подняли из шахты бадью с землей, высыпал ее на поверхность земли. Двое рабочих делили эту землю лопатами надвое и накладывали ребятам в тачки. Из ребят одни сваливали в стороне землю, а другие везли к рудничному двору руду.

Рабочие подняли одну бадью, в ней стоял мальчик лет шестнадцати, бледный, в грязной рубахе.

– Крепи подайте! – проговорил он, и его опустили в

шахту. Потом, поднявши обе бадьи поставили их около ворот.

Под горкой налево лежали горбины. Четыре человека бросилось к ним и по веревке стали легонько спускать их в шахту. Спустили штук восемь.

Подошел к шахте штейгер.

– Стой, стой! будет... – крикнул он и затряс веревку свистнул в шахту. В бадье подняли одного рабочего. – Ломайте ворот. Выходите из шахты!.. Спусти эту бадью, черт! – крикнул он на одного рабочего и ударил его по плечу. Пришел Парамонов, нарядчик. Бадью с рабочими опустили назад.

– Ты што это смотришь? Ведь это без руды – глина!

– Я нарочно велел...

– Велел... Черт! Шевелись: вели Егорьевскую шахту разрывать! Живо! Эй! – кричал он рабочим, стоящим у ворота, – Десять человек в шахту, десять к вороту! Шевелись! Где руда?

– Вот. – И Парамонов указал на кучу налево с железной рудой.

– Да ведь медную руду-то приказано. Ну? что ты смотришь, харя. Ей-богу, я на тебя пожалуюсь.

– Что же я-то сделаю? Больно прыток.

– Ты должен в другое место копать!

– Не сердись, егоза. Поди-ко, покопай ее!

– Молчать!..

– Эй вы, черти! Убьет!! – крикнул один рабочий, бежавший от горы, и скрылся за ближнею насыпью.

Вмиг все прилегли на землю, все стихло вокруг; пильщики тоже соскочили с козел и прилегли на землю. Через две минуты раздался ужасный треск и гул, какого не бывает даже от грозы, точно из ста пушек враз выстрелило под самым ухом; еще раздался треск, но потише. В человеке, не выдавшем подобных вещей, это произвело бы величайший ужас. Люди встали бледные, горы не видно – все застлало дымом. Немного погодя стало яснее видно предметы; направо от горы отломилась огромная глыба.

– Ладно как еехватило!

– Небось пороху-то дивно сожрала.

– Вот благодать-то опять руды. Гли; какая та часть-то! – говорили рабочие.

– Эй! все ли целы? – крикнул штейгер, ставши на одну высокую кучу земли.

– Никитину, гли, руку оторвало, – сказал один рабочий, стоявший в числе прочих на другой насыпи.

– Черт!! – и штейгер плюнул. – Парамонов, пошли к горе тридцать человек новых. Везите туда лес! Ребята, с тачками туда!.. Копайте штольни!.. – И штейгер пошел распорядиться, а Парамонов исполнял приказание. Рабочие не знали, за что взяться.

Вдруг раздался звонок в колокол, находящийся на

рудничном дворе. Это означало время ужина и ночную смену. Один рабочий крикнул, что есть силы, нагибаясь до половины в шахту: шабаш!

Повыползли из земли рабочие, в рубахах и штанах, загрязненных донельзя, уселись они около тех мест, где работали, достали из-под досок свои узелки и стали есть ржаной хлеб, приливая водой из бадей, в которые вливали воду из насосов. Поели; кое-кто покурил трубки – и, сменившись, стали опять работать: те, которые работали в шахте, стали работать на поверхности, а некоторые, за провинку, пошли работать в шахту. Во время ужина производилась расправа: по приказанию штейгера наказали двух рабочих и четырех подростков за то, что штейгер застал их до ужина не работающими, а спящими у старых закрытых шахт.

Опять началась работа. Гаврила Иваныч пошел к Егорьевской шахте с двадцатью рабочими. Всем им выдали инструменты: кайлы, лопаты, топоры, три фонаря с сальными свечами.

– Спускайся, Гаврила, – говорил один рабочий Гавриле Иванычу.

– Сам спускайся: она ведь одиннадцать сажен, а смотри, срубы-то какие.

– Ну-ка, стройте бадью, я тожно слезу, – сказал другой рабочий, снявши зипун и бросивши его около шахты.

Наладили бадью: рабочий залез в бадью, одной рукой держась за веревку, другую держал шест. Ворота здесь не было.

– Ну-ну, спущай! Вали! – кричал рабочий; его спустили полегоньку.

– Тяни! – услышал из шахты один рабочий, нагнувшийся до половины в шахту.

Когда бадью с рабочим притянули кверху, он сказал: – воды много.

Пришел Парамонов, который был начальником на этом руднике.

– Сажень воды-то, – сказали ему рабочие.

– Ах, будь он проклят, этот Подосенов. Ну, што я стану делать? Выручайте, братцы!

– Качать надо, да толку-то что? – сказал Токменцов.

– Да этта и руды-то нетука, потому што до пасхи покинули шахту-то, – сказал другой рабочий.

– Будьте вы прокляты! сказано, тут велено робить.

– Поди-ка, влезай, черт ты после этого!.. Сажень глубины вода-то.

– Поди-ка, ловко ночью-то. А што твои фонари? Сичас погаснет, потому сыро, и выход один, а шурфы старые залило, – сказал Токменцов.

Думал-думал Парамонов, видит, что рабочие правы, работать в шахте нельзя, поругался и сказал рабочим:

– Ну, ино погодите. Да не спать! – задеру.

– Ну!

Парамонов ушел, а рабочие, немного погодя, легли на землю и скоро заснули. Парамонов разыскал около горы в балагане Подосенова, но тот спал.

– Не беспокой ево, спит, пьян тожно, – отозвался караульный.

За рудничными работами смотрел на Петровском руднике штейгер Подосенов, который дослужился до этой должности из засыпщика (фабричного рабочего). Сперва он как-то угодил прикащику, потом женился на дочери уставщика и вскоре стал сам нарядчиком, т. е. обязан был находиться постоянно на работах при руднике, назначать рабочих, по приказаниям главной конторы, на рудничные работы: сколько-то человек в шахту на мелкие работы, – и наблюдать, чтобы рабочие были на своих местах. Потом его сделали надзирателем: он был теперь второе лицо после прикащика, но и эта должность ему не понравилась, и он выпросил себе должность штейгера. В этой должности он был уже начальник над рабочими в руднике, все равно, что горный смотритель-инженер: указывал рабочим, где бить шурф, где начинать шахту, и, несмотря на то, что он не изучал геологии и минералогии, он, по практике, имел кое-какие сведения в горном деле. Сегодня его ужасно взбесила гора. Уже две с полови-

ною недели работали в ней, и все попадалось только немного железной руды. В случае надобности он имел право добывать руду посредством пороха, т. е. ломать гору, но порох он берег, наживая от него деньги. Теперь он решился зарядить один угол в шурфе (коридор в горе, идущий от шахты по разным направлениям до других шахт). Бок горы разорвало, и тут-то в одном месте он увидал широкий пласт медной руды, но и тут не мог заключить, далеко ли внутрь пройдет этот пласт и не придется ли начать шахту с поверхности горы. На это, впрочем, он должен был просить разрешения управляющего, который хотя и был горным инженером, но на рудники ездил редко и драл Парамонова и Подосенова за неисполнение возложенных на них обязанностей. Токменцова и его товарищей Парамонов скоро растолкал и послал на прежнюю шахту, откуда их прогонял Подосенов. Спустился туда Токменцов с четырьмя рабочими и четырьмя подростками, которые захватили с собой по тачке, а инструменты для рабочих были уже в шахте. Спустились они вниз, на расстоянии пятнадцати сажен. Темно, душно, сыро, дышится тяжело. Ноги ступают и скользят по доскам, которые укреплены на сваях, вбитых в землю, а под ними вода; зажгли кое-как фонарь. Этот фонарь повесили на веревочке за перекладинку, или крепь – горбину, подпирав-

шую срубы одной стены. Вся шахта, от верху до низу, до голов человеческих, была закреплена срубамы, и все четыре ее стороны, или четыре стены, состояли из срубов, подпирались сваями, между которыми были пробиты и шурфы – узкими коридорчиками, узкими так, что можно в них пройти только одному человеку; они тоже укреплены крепями, чтобы не обваливалась земля.

Зажгли еще два фонаря, но все-таки фонари тускло освещали шахту.

– Так как, братцы? начинать? – говорил один рабочий.

– Землю-то надо оттудова долой. – Один рабочий дернул веревку, на конце которой болтался колокольчик. Спустилась в шахту бадья, наклали в нее земли; опять дернули веревку.

Бадья стала подниматься, спустилась другая. Вверху фонарь казался звездочкой.

– Ломай там! – крикнул один рабочий Токменцову, указывая направо, в узкий низкий коридорчик.

– Чево?

– Во!

– Гляди, низко!

– Ну, копай сверху! – Рабочие кричали из всего горла, но голоса их как будто разбивались о стены и звучали глухо, едва слышно. Токменцов ударил пять раз

кайлом повыше отверстия, двое вытащили горбину, земля обвалилась, эту землю подняли кверху; отверстие сделалось попросторнее.

– Ну-ко! фонарь-то!

Посмотрели: жила медной руды. С час бил кайлом Токменцов, но выбил только на одну подпорку. Он вышел к шахте и закурил трубку, захотелось пить. Ему было жарко в рубаше, которая вся покрылась землей; ноги промокли, их кололо голова болела, он то зяб, то ему было жарко. Воротовые вверху то и дело вытаскивали землю и спускали вниз бадьи, в которые ребята в шахте клали лопатами землю; двое рабочих пробивали стену в другом месте, третий крепил стену.

– Братцы! жилы не видать. Ах, пес ее задери, – сказал Токменцов товарищам, посмотрев на то место, в которое он бил.

– А гляди, куда пошла – налево, – сказал один рабочий, бивший другую стену, показывая рукой.

– Тут бить опасно – как раз обвалится, смотри, земля-то под ногами какая, и в штольню вон текет, да все ее много, – говорил другой рабочий, держа фонарь.

Рабочие сели на горбины, лежавшие на полу, и задремали. Вода в шахте все больше и больше прибывала. Они скоро заснули сидя. Вдруг спустился к ним Подосенов и растолкал их.

– Вам спать! Молчите уже!

– Да тут робить-то нечего, – сказал Токменцов. Подосенов обошел все коридоры, из которых один проходил на тридцать сажен, и велел в этом коридоре бить стену налево, в пятнадцати саженях от шахты.

Заполз туда Токменцов и стал бить стену кайлом. Двое разворачивали сваи, один парень подходил к нему с тачкой и утаскивал к шахте землю. Никто из рабочих не знал, день ли теперь или ночь, не говоря уже о часах. Наконец, затряслась веревка, зазвякал чуть-чуть слышно колокольчик, и стоявшие в шахте для приема бадьи услышали: шабаш! но это восклицание как будто долетело из-за пяти верст и слышалось, как шепот.

– Шабаш! – крикнул один из них в шахте, но его голос, звучный наверху земли, здесь прозвучал глухо. Ребята, еле передвигая ноги, подходили к шурфам и кричали тоже изо всей силы от радости скорее выползти на свет божий: шабаш!

Один по одному рабочие выползли в бадьях на поверхность земли, а два парня – так те по углам сруба поднялись кверху. Вы бы не узнали этих рабочих теперь: все рубахи в земле, мокрые; штаны тоже мокрые, в грязи; сапоги приняли вид каких-то чурбанов. Лица и особенно руки тоже. черные, в земле. Тяжело они вздохнули, выйдя на свет божий. Стали есть хлеб, потом ушли в избу и легли спать, – кто на нары, кто на

широкие, для десяти человек, полати. Здесь теперь спало до тридцати рабочих и сорока подростков. Часу в первом рабочих разбудили и распределили на работы на верху земли: сортировать руду, откачивать воду, спускать горбины в шахту, поднимать бадьи и т. п. На третьи сутки Токменцов был назначен на работу в гору. Там, в шахте, идущей прямо коридором, а не в землю в виде колодца, он целые шесть часов бил стену, но стена была такая крепкая, что ее очень трудно было пробрать, так что он изломал два казенных кайла и эту ломь положил около своего зипуна, для того, чтобы унести домой. Рабочие отсюда могли свободно унести домой ломь, потому что за этим никто не смотрел. Здесь работать Токменцову было лучше, потому что он мог чаще выходить на свежий воздух. Но рабочие замечали, что он хворает.

В этот день, около обеда, приехала к руднику верхом на лошади Елена. Привязавши лошадь у избы, она подошла к руднику, где в горе работал ее отец. Увидев Елену, рабочие не давали ей проходу: они то щипали ее, то трепали по плечу и высказывали ей разные остроты насчет ее лица, пола и разные плоскости. Елена действовала руками и плевками.

- Нету здесь Токменцова.
- Врешь, варнак! здесь он.
- Ребята, тащи ее в шахту.

Елену потащили в шахту, но скоро вышел отец. Он ни слова не сказал рабочим и как будто не обратил внимания на баловство своих товарищей, которые все были люди женатые и имели детей. По-видимому, они шутили с Еленой.

Токменцов был бледнее прежнего, лицо похудело. Он походил на мертвеца. Кое-как передвигая ноги, опустив руки, он подошел к дочери.

– Што... хлеба принесла? – проговорил он едва слышно охриплым голосом и сел на одну тачку, лежавшую без употребления. Сердце замирало у Елены, ноги подкашивались, мороз прошел по ее телу. Отец сидел, свесив голову и положив на коленки рука на руку.

– Тятенька, голубчик! – сказала Елена.

– Ступай, мила дочка. Ступай... Елена заплакала.

– Я, тятенька, малинки тебе принесла, – проговорила она.

– Не могу, мила дочка!.. Тошнит.

– Тятенька!

– Баню бы надо...

Токменцова окружили человек шесть рабочих.

– Токменцов! – сказал один. – Иди, пора! нечего лытать-то, – сказал другой.

– Не могу, братцы... Подняться не могу... Пришел Подосенов.

– Ты зачем? Пошла прочь! – крикнул он Елене и ударил ее по шее.

– Ты не дерись, свинья! Я не к тебе пришла.

– А ты што не робишь? пытать, што ли, захотел? – крикнул Подосенов на Токменцова.

– Лихоманка с ним! Смотри, трясет! – сказали двое рабочих.

– Я ему дам лихоманку. Пошел! Вот в очередь смею – дрыхни.

Токменцов кое-ак встал, его пошатнуло, и, кое-как двигая ноги, пошел к шахте. Елена постояла немного и пошла к лошади. Когда она садилась на лошадь, то вдруг услышала крик от горы.

– Девка! а девка!

– У!! – откликнулась Елена.

– Беги сюда!

Соскочив с лошади, Елена побежала к шахте. Отец лежал навзничь, из носу и рта шла кровь. Елена стала, как статуя. В глазах помутилось, она ничего не видела, ничего не понимала.

– Ну, чево стоишь, дура! Ребята, тащите его прочь! – крикнул Подосенов. Двое рабочих подняли Токменцова, дотащили до рудного двора и там положили его в телегу.

– Умер? – спрашивали рабочие, окружившие телегу.

– Шевелится...

– Осподи! Экое наказание эта жизнь!.. – говорили крестьясь рабочие.

Елена плакала.

– Ну, девка, не воротишь. Вези ево в ошпиталь... Вот жизнь-то!

– Подожди, штейгер бумагу даст.

Немного погодя подошел к толпе штейгер с запиской и, дав ее одному рабочему велел везти Токменцова в госпиталь. Тронулись. Елена сидела около отца, который лежал на спине с открытыми глазами и с сложенными на груди руками. Он тяжело вздыхал, кашлял, и как только он кашляет, то начинает сочиться из открытого рта кровь.

– Тятенька! – говорила Елена. Отец молчал и даже не шевелил глазами.

– Господи! дай ты ему здоровья! – молилась Елена, смотря на лицо отца, и плакала. Провожатый мало заговаривал с Еленой; она говорила, сама не зная что.

Сдал рабочий Токменцова в госпиталь, стащили его в какую-то не то избу, не то съезжую, с грязным полом пропитанную кислым воздухом, положили его на кровать, покрытую рогожей, и покрыли рогожей. Кругом кровати Токменцова было несколько других, на которых лежали тоже рабочие, две женщины и пять подростков; они стонали и охали. Это была единственная

палата для больных рабочих на двадцать восемь кроватей, на которых лежали одержимые разными тяжелыми болезнями и почти никогда не выздоравливали. Были еще две палаты, но там лежали – в одной мужчины, в другой женщины, – из приказных и должностных людей. Это называлось чистой половиной.

Елена хуже этого места нигде не находила. Ей не хотелось уходить от отца, но ей велели идти. Как полоумная, пришла она к Степаниде Ивановне, разразилась ревом, и долго не могла Степанида Ивановна добиться от нее толку.

– Да, чтой-то с тобой?

– Ой, матушка!.. голубушка...

– Да говори!

– Отец... в ошпиталь свезли.

Не говоря ни слова, Степанида Ивановна побежала в госпиталь, но Гаврила Иваныч лежал на кровати уже мертвый...

А между тем в заводе идет суэта. Сегодня канун успенья. Женщины моют полы, чашки, спорят о том, что лучше завтра состряпать, тащат из погребов корчаги с пивом, вынимают из сундуков заветные платья, считают накопленные в год копейки, бегают из дома в дом, ворчат, топят бани. Вот и мужчины стали собираться в завод и парятся в банях. Работы прекратились. Завтра разговенье, и в Осиновском заводе боль-

шой праздник.